

---

---

*КНЯЗЬ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РОССИИ  
(К 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ).  
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*

*Вопросы философии. 2018. № 3. С. 5–32*

**А.А. Кара-Мурза, И.Е. Прохорова, О.А. Жукова,  
Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин**

1 и 3 июня 2017 г. в Институте философии РАН и Государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «родовом гнезде» князей Вяземских – состоялась Международная научная конференция, посвященная 225-летию со дня рождения выдающегося русского литератора, социального и политического мыслителя, государственного деятеля князя Петра Андреевича Вяземского.

В статье А. А. Кара-Мурзы «“Русское северянство” князей Вяземских (к вопросу о национальной идентичности)» исследуется малоизученный в литературе вопрос о роли князей Вяземских в создании концепции «русского северянства» – богатой «идентификационной матрицы», сыгравшей большую роль в философско-идеологической полемике XVIII – первой трети XIX вв. и отодвинутой на дальний план в середине XIX в., с началом русского противостояния «западников» и «славянофилов». По мнению автора статьи, идейным вдохновителем рюриковичей Вяземских был Н. М. Карамзин, который жил и работал в «родовых гнездах» Вяземских в Москве и Остафьево и чья «История государства Российского» стала классическим текстом «русского северянства».

В статье И. Е. Прохоровой «Концепты «смерть» и «старость» в лирике П. А. Вяземского» особое внимание уделяется «поэзии старости» Вяземского, отличающейся разнообразием идей и переживаний при акцентировании концепта «смерти», скептического умонастроения и значимости мотивов хандры. Показана глубокая разработка поэтом принципиальных философских и психологических проблем «последнего возраста», адаптации к нему, геронтофобии и «самоотпевания», ментального конфликта поколений и перспектив «общего труда», концепции двух вариантов старости. Сделана попытка по возможности полно и объективно проанализировать размышления Вяземского о жизни после смерти («втором томе книги жизни»), посмертной памяти, творческом бессмертии.

В статье О. А. Жуковой «Идеалы просвещения и национальная литература: эстетическая программа П. А. Вяземского» проводится мысль о том, что Вяземский создает эстетический канон русской классики, демонстрируя процесс универсализации эстетических ценностей в русской культуре. Он последовательно отстаивает тезис о необходимости национальной литературы во взаимосвязи с духовными традициями и гражданскими установлениями народа. Автор раскрывает смысл эстетической программы Вяземского, структурными элементами которой являются язык как форма выражения мысли, историзм в формировании национальной литературы и идеи Просвещения. Также выявляются «культурные герои», повлиявшие на эстетическую программу Вяземского – создатель русской Империи Петр I, великий историограф Н. М. Карамзин и его друг, первый поэт России, А. С. Пушкин.

В статье Т. Г. Щедриной и Б. И. Пружинина «К истокам «положительной философии» в России: Петр Вяземский о достоинстве интеллектуальной культуры» актуализируется интеллектуальное наследие русского мыслителя П. А. Вяземского. Авторы проводят мысль о том, что его идеи являются одним из истоков традиции «положительной философии» в России, для которой характерны историзм (в том числе и применительно к собственной философской позиции) и знаково-символическая трактовка знания как культурной ценности. В особенности ярко проявился у Вяземского поворот к «положительной философии» в его мыслях о русском языке, словесности и народности, а также в культурно-исторических оценках первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева

и политически ориентированных стихотворений А. С. Пушкина. Идеи П. А. Вяземского о необходимости формирования «литературной аристократии» не только как особого неполитизированного слоя «творцов культуры», но и как внеидеологической среды для становления личности, оказываются остро современными, созвучными фундаментальным проблемам культуры нашей кризисной эпохи.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** История России, Просвещение, национальная идентичность, “русское северянство”, “положительная философия”, русская интеллектуальная культура, литературная аристократия, достоинство, историзм, “смерть”, “старость”, творческое бессмертие.

ЖУКОВА Ольга Анатольевна – доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, Москва.

ozhukova@hse.ru

КАРА-МУРЗА Алексей Алексеевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, главный научный сотрудник Института философии РАН, Москва.

a-kara-murza@yandex.ru

ПРОХОРОВА Ирина Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры истории русской журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва.

ierprokhorova@mail.ru

ПРУЖИНИН Борис Исаевич – доктор философских наук, главный редактор журнала “Вопросы философии”, профессор Школы философии Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”, Москва.

prubor@mail.ru

ШЕДРИНА Татьяна Геннадьевна – доктор философских наук, профессор кафедры философии Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, профессор кафедры философии Дальневосточного федерального университета (ДФУ), Владивосток, редактор журнала “Вопросы философии”, Москва.

tannirra@yandex.ru

Статьи поступили в редакцию 15 июля 2017 г.

Цитирование: *Кара-Мурза А.А.* “Русское северянство” князей Вяземских (к вопросу о национальной идентичности) // Вопросы философии. 2018. № 3. С. 5–13.

*Прохорова И. Е.* Концепты “смерть” и “старость” в лирике П. А. Вяземского // Вопросы философии. 2018. № 3. С. 14–19.

*Жукова О. А.* Е. Н. Идеалы просвещения и национальная литература: эстетическая программа П. А. Вяземского // Вопросы философии. 2018. № 3. С. 19–24.

*Щедрина Т. Г., Пружинин Б. И.* К истокам “положительной философии” в России: Петр Вяземский о достоинстве интеллектуальной культуры // Вопросы философии. 2018. № 3. С. 25–27.

# “Русское северянство” князей Вяземских (к вопросу о национальной идентичности)\*

А. А. Кара-Мурза

Классическое русское противостояние западников и славянофилов, ставшее определяющим в дискуссиях о судьбах России с середины XIX в., перемололо и выветрило из отечественного самосознания еще одну концепцию национальной идентичности, некогда весьма влиятельную. Речь идет о подзабытой парадигме «русского северянства», которой сегодня, вполне возможно, суждено обрести новую жизнь.

Так случилось, что концепция «северянства», не отменяющая, а, скорее, корректирующая *европейскую* идентичность России [Кара-Мурза 1993], оказалась тесным образом связана с историей рода князей Вяземских, — как в силу их собственной роли в судьбе этого направления мысли, так и потому, что именно в их «родовых гнездах» (московском особняке в Малом Знаменском переулке и в подмосковной усадьбе «Остафьево») был рожден один из классических текстов «северянства» — «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина [Кара-Мурза 2016<sup>a</sup>].

Князь Андрей Иванович Вяземский (1754—1807) и его единственный сын, князь Петр Андреевич (1792—1878), были потомками легендарного Рюрика, соответственно в 24-м и 25-м коленах, — и это многое нам объясняет. Рюриковичи Вяземские отлично знали, что их предок, Ярослав Мудрый, был женат на шведской принцессе Ингегерде; его внук, Владимир Мономах — на принцессе-изгнаннице Гите Уэссекской, дочери короля Гарольда II Английского, а сын Мономаха, князь Мстислав Владимирович, великий князь киевский, — на принцессе Христине, дочери шведского короля Инге I.

Вяземские, из рода в род, считали себя людьми европейского Севера, *северянами*. Родной дед князя Андрея Ивановича — князь Андрей Федорович Вяземский, человек петровской эпохи, женился в свое время на простой пленной шведке, и это потом стало сильным аргументом для его внука в отстаивании собственного выбора — жениться, в свою очередь, на ирландке, которую он привез из своего затянувшегося на четыре года европейского вояжа.

Так появился на свет князь Петр Андреевич Вяземский — крупнейший русский литератор и общественный деятель, чье 225-летие культурная Россия, без особого деления на узкие профессиональные цеха, дружно отметила в 2017 г. Один из биографов Вяземского, протоиерей Александр Шабанов, признанный знаток кельтской религиозной культуры, написал в свое время в статье с характерным названием «“Два племени” князя Вяземского», что его герой, на протяжении всей своей долгой (86 лет) жизни, считал себя человеком «двуединой идентичности», не раз вспоминая о своем «северном» происхождении и «...никогда не упуская возможности признаться и в своих ирландских корнях, и в своих кельтских симпатиях»: «По отцу князь был потомком Рюрика, по матери — ирландцем, что в сумме дает *совершенно северо-западного человека* (курсив мой. — А.К.), ощутившего свое славянство, свою русскость в разные годы по-разному, но всегда отчетливо и памятно свидетельствуя об этом в стихах, статьях и письмах» [Шабанов 2014 web].

В середине ноября 1828 г., во время тяжелого душевного кризиса, связанного с трагедией друзей-декабристов, уходом Карамзина, смертью сына Петруши, доносами конкурентов-литераторов, лукавыми советами бывших приятелей «проявить умеренность и покорность» (т. наз. «послание Блудова»), Вяземский в отчаянии написал своему другу А.И. Тургеневу: «Сделай одолжение, отыщи мне родственников моих в Ирландии: моя мама была из фамилии О’Рейли. Она была замужем за французом и развелась с ним, чтобы выйти замуж за моего отца, который тогда путешествовал... Может быть, придется

---

\* Исследование финансировалось в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации “5–100”.

© Кара-Мурза А. А., 2018 г.

мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии» [Остафьевский архив 1899–1913 III, 183].

А в 1869 г., будучи уже 77-летним стариком и находясь на лечении на водах в Висбадене, князь напишет стихотворение «Введенские горы», посвященные матери-ирландке и далекой «зеленой стране Эйре»:

Мне не чужда Зеленая Эрина  
Влечёт и к ней сыновняя любовь:  
В моей груди есть с кровью славянина  
Ирландской дочери наследственная кровь.

От двух племен идет мое рождение,  
И в двух церквях с молитвою одной  
Одна любовь, одно благословенье  
Пред Господом одним сливались надо мной...  
(Цит. по: [Бондаренко 2014, 27])

Гордые князья Вяземские, потомки викинга Рюрика, всегда отличали «русских людей» (россов) от «славян»: русские, по их мнению, неся в себе северную кровь, были исторически призваны быть элитой на этой земле, заселенной славянскими, финно-угорскими, тюркскими и другими племенами. И в этом контексте оппозиция «Запад-Восток», которая для отечественной историософии станет рабочей с середины XIX в., для русского XVIII века и даже для начала века XIX была, конечно же, еще вполне бессмысленной.

В XVIII в. просвещенная Европа, не отказывая России в европейскости, указывала одновременно и на ее «северянство». «Северной Семирамидой», по аналогии с предприимчивой и воинственной ассирийской царицей, ставшей основательницей Вавилона, называл Елизавету Петровну прусский король Фридрих II. Точно так же: «Semiramis du Nord» – величал в своих письмах Вольтер императрицу Екатерину II. О «садах Семирамиды», возрожденных на берегах «великолепной Невы», «главы северных рек», напишет в 1818 г. и князь Петр Вяземский в своем программном стихотворении «Петербург»...

Как известно, ближайшим другом и советником сначала супруги наследника престола, а затем императрицы Екатерины Алексеевны, был граф Никита Иванович Панин (1718–1783), чьим идейным и геополитическим идеалом был так называемый «Северный аккорд» – союз, под эгидой России, государств Северной Европы (Швеции, Дании, Пруссии, Речи Посполитой) против «южных» династий Бурбонов и Габсбургов и поощряемой Францией Оттоманской Порты. Именно времена духовно-политического альянса молодой Екатерины и Панина, когда идеи «северянства» органично окормляли российскую державную идентичность, князь П.А. Вяземский, в одной из записок 1861 г., написанной на французском языке, назовет «самыми русскими» в многовековой истории России: «Общество, хотя и увлекалось блеском, обаянием и, признаюсь, зачастую даже уклонениями европейской цивилизации (*les écarts de la civilisation Européenne – франц.*), носило, однако, в себе живой элемент своей национальности и, сравнительно с тем, чем оно стало впоследствии, – было более русским» [Вяземский 1878–1896 VII, 73].

Еще при императрице Елизавете Н.И. Панин в течение двенадцати лет был русским посланником в Швеции, где, с одной стороны, стремился закрепить победные результаты Ништадского (1721) и Абоского (1743) мирных договоров, а с другой стороны, тесно сотрудничал с местной «партией колпаков», мечтавшей ограничить королевскую власть, находящуюся в орбите последних французских Людовиков. Именно в Стокгольме Панин напитался конституционными либеральными идеями, выступавшими, как правило, в масонской оболочке [Кара-Мурза (ред.) 2007, 18–25].

В русле идейных и геополитических идеалов графа Панина, ставшего наставником цесаревича Павла Петровича (будущего императора Павла I), выросло целое поколение

отечественных интеллектуалов — «русских северян» по самоощущению и «вольтерьянцев» по духу. В семье Вяземских именно Панин, либерал и масон, стал культовой фигурой, своего рода *«идеалом русского человека»*. В 1861 г. в работе «О записках Порошина» П.А. Вяземский напишет о Панине: «Воспитатель молодого великого князя граф Панин, хотя и был вполне дипломат и министр иностранных дел, был, однако, русским не только по характеру и направлению своей политики, но и истинно русским человеком с головы до ног. Ум его напитан был народными историческими и литературными преданиями. Ничто, касавшееся до России, не было ему чуждо или безразлично. Поэтому и любил он свою родину — не тепленькою любовью, не своекорыстным инстинктом человека на видном месте, любящего страну свою — в силу любви к власти. Нет, он любил Россию с пламенною и животворною преданностью, которая тогда только существует, когда человек принадлежит стране всеми связями, всеми свойствами своими, порождающими единство интересов и симпатий, в котором сказывается единая любовь к своему отечеству — его прошлому, настоящему и будущему» [Вяземский 1878—1896 VII, 73—74]. И далее Вяземский формулирует принцип, которому сам стремился следовать всю жизнь: «Только при такой любви и можно доблестно служить стране своей и родному своему народу, сознавая при этом все его недостатки, странности и пороки и борясь с ними, насколько возможно и всеми средствами. Всякая другая любовь — слепа, бесплодна, неразумна и даже пагубна» [Там же, 74].

Верным сторонником «панинской партии», присягнувшим на верность идеалам «Северного аккорда», стал в ранние екатерининские годы и молодой генерал-масон, князь Андрей Иванович Вяземский. Он был сыном Ивана Андреевича Вяземского, шведа по матери, женатого на М.С. Долгоруковой, дочери князя-рюриковича С.Г. Долгорукова, талантливого дипломата, казненного в 1739 г. по обвинению в участии в заговоре. Князь Иван Вяземский был человеком жестким и набожным, «с оттенком русского приказного человека XVII столетия и немецкого бюрократа, сформировавшегося при дворе императрицы Анны Иоанновны» [Архив князя Вяземского 1881, III]. Однако, несмотря на суровый нрав князя Ивана и его, как тогда говорили, «святошество», он дал крайне либеральное, даже «вольтерьянское», образование сыну, что хорошо видно из отроческих писем князя Андрея к своему воспитателю-французу [Там же, XI].

Князь А.И. Вяземский, участник русско-турецких войн, ставший в девятнадцать лет полковником, а в двадцать пять — генералом, был одновременно высокопоставленным «вольным каменщиком» — активным членом масонских лож самого Панина и его воспитанника князя А.Б. Куракина, а также «досточтимым мастером» влиятельной петербургской ложи Zur Verschwiegenheit, название которой принято переводить как «Скромность» или «Молчаливость». В Москве Вяземский-старший вошел в состав масонского «Дружеского ученого общества», где тесно общался с Н.И. Новиковым, М.М. Херасковым, И.П. Тургеневым. Четырехлетний вояж князя Андрея Ивановича в Европу (1782—1786) закрепил за князьями Вяземскими роль интеллектуальных лидеров «русского северянства».

Путевые заметки Вяземского-старшего, сохранившиеся в «Остафьевском архиве» [Там же, 291—350], свидетельствуют о том, что 28-летний генерал-майор, в сопровождении двух верных офицеров, выехал 1 марта 1782 г. из Санкт-Петербурга в Стокгольм, по-видимому, с личным заданием престарелого и уже отодвигаемого Екатериной от руководства внешней политикой графа Н.И. Панина. Во всяком случае, путь Вяземского лежал ко дворам «северных» монархов, бывших ранее союзниками России, — к шведскому королю Густаву III, королю Пруссии Фридриху II, курфюрсту Саксонии Фридриху-Августу III. Посылая Вяземского в Европу, Панин делал последнюю и, как оказалось, безуспешную попытку противодействовать «новой политике» Екатерины II, меняющей прежних «северных» союзников на австрийских Габсбургов и французских Бурбонов. В рамках этой новой стратегии императрица отправила в гранд-тур к европейским дворам «южных» династий сына-наследника Павла с супругой Марией Федоровной — формально инкогнито, но под характерными псевдонимами «графа и графини Северных».

Что касается «командировки» А.И. Вяземского, то, помимо контактов с монархами Швеции, Пруссии и Саксонии [Там же, 304–311, 321–322, 324–325], ее апофеозом стали личные встречи князя в середине июля 1782 г. во Франкфурте, в отеле Maison Rouge, с пребывавшим в те дни в германских землях великим князем Павлом Петровичем и участие Вяземского в общеевропейском масонском конгрессе в курортном городке Вильгельмсбаде [Там же, 340–342]. Там были приняты важнейшие решения о выведении русских лож из-под шведской юрисдикции и создании в России самостоятельной «масонской провинции» под общей эгидой прусского герцога Фердинанда Брауншвейгского.

Интересен, однако, другой вопрос, ответить на который непросто в силу отсутствия достоверных источников: почему заграничная поездка Вяземского-старшего, именуемая во многих изданиях «образовательным путешествием», задержалась на *целых четыре года*? Выскажем в этой связи осторожное предположение, что после произошедших в Петербурге в конце 1782 – начале 1783 гг. событий сам А.И. Вяземский *не торопился возвращаться на родину*.

Как известно, «граф и графиня Северные» вернулись в Санкт-Петербург 20 ноября 1782 г. А буквально на следующий день ближайшего друга наследника, сопровождавшего его в путешествии, князя А.Б. Куракина, воспитанника Панина и крупнейшего масона, доставили к генерал-прокурору Империи, несколько дней допрашивали, а через неделю по приказу императрицы отправили в ссылку в саратовское имение, где князь пробыл до самой смерти Екатерины в 1796 г. Однако главный удар по «северянской партии» был нанесен весной 1783 г. смертью 31 марта графа Н.И. Панина. На его погребение 3 апреля в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры императрица Екатерина II не явилась...

Логично предположить, что в этих обстоятельствах князь А.И. Вяземский – на четверть швед, генерал-масон и доверенное лицо Панина и Куракина – опасался возвращения в Россию. К решению остаться в Европе его мог подвигнуть и двоюродный брат отца – князь Алексей Александрович Вяземский, тот самый генерал-прокурор и ближайший сотрудник Екатерины, вряд ли заинтересованный в скором возвращении племянника-диссидента.

Справедливости ради надо добавить, что генерал-прокурор Вяземский сделал, похоже, многое, чтобы его племянник сумел-таки, спустя многие месяцы, вернуться на родину к состарившимся родителям. Весной 1786 г. князь Андрей займется в России обустройством личной жизни: женится на привезенной им из-за границы ирландке Дженни О’Рейли, ставшей русской княгиней Евгенией Ивановной Вяземской и матерью князя Петра Андреевича; потом, уйдя на очередную турецкую войну, отличится при штурме Очакова, а вскоре получит назначение наместником императрицы в отдаленные Нижегородскую и Пензенскую губернии. Там он, по рассказам очевидцев, возымеет парадоксальную цель «в Пензе создать Лондон» и будет раздавать служебные указания «в разуме аглинских обычаев, забывая, что он начальник не в Девоншире, не в Дублине, а в Пензе» [Там же, XXV–XXVI].

В московском доме Вяземских в Малом Знаменском переулке (здесь в 1792 г. появился на свет Петр Вяземский) и в подмосковной усадьбе Остафьево многие годы собиралось изысканное общество. Юный князь Петр вспоминал о философско-политических спорах, длившихся там далеко за полночь: «Отец был великий устный следователь по вопросам метафизическим и политическим; сказывали мне, бывал он иногда и очень парадоксальный, но и блестящий спорщик... Князь Яков Иванович Лобанов говаривал, что когда отец мой, в жару спора, нанижет себе на пальцы несколько соленых кренделков, которые подавались закуской при водке, то беда: ужин непременно успеет остыть» [Вяземский 1878–1896 I, XXXI].

Участников кружка Вяземского-старшего объединяли «северянское» мироощущение, европейская образованность, страсть к дальним путешествиям и вольтерьянский дух; многие были близки в свое время к опальному князю Куракину, а некоторые успели

в юности поработать и с самим графом Н.И. Паниным. Большинство со временем заняли высокие должности, однако в разные годы извели и отставки, и даже опалу. Назовем лишь основные имена: князя-рюриковичи А.М. Белосельский-Белозерский и Я.И. Лобанов-Ростовский, граф Л.К. Разумовский, литераторы и государственные деятели Ю.А. Нелединский-Мелецкий, И.И. Дмитриев, И.П. Тургенев. Именно через Тургенева — влиятельного масона из ближайшего окружения Новикова и родителя известных братьев Тургеневых, в дом Вяземских вошел и молодой литератор Н.М. Карамзин, с которым Вяземский-старший познакомился еще до «европейского вояжа» Карамзина в Европу в 1789—1790 гг.

Судя по всему, князь А.И. Вяземский сыграл немалую роль в судьбе Карамзина, в убережении его от преследований [Кара-Мурза 2016<sup>6</sup>] и организации его тайного отъезда из Москвы весной 1789 г. и последующего пребывания в Европе, прежде всего в Дрездене (под опекой посланника в Саксонии князя Белосельского-Белозерского), а потом в Женеве, где сам Вяземский-старший останавливался в 1784 г. Карамзин, выходящий, пережил за границей нечто похожее на недавнюю историю самого Вяземского-старшего — и это очень сблизило обоих, а со временем и породнило: Карамзин, как известно, женился вторым браком на старшей дочери А.И. Вяземского. Именно Карамзин, который долгие годы жил и работал в домах Вяземских в Москве и Остафьеве, принял эстафету в развитии идей «русского северянства»: его многотомная «История государства Российского» явилась в этом отношении одной из классических работ.

Историческая концепция Карамзина, изложенная им в четвертой главе первого тома «Истории», казалось бы, общеизвестна. В своем анализе истоков русской государственности он опирался на летописные источники (прежде всего на «Повесть временных лет») о призвании новгородцами в 862 г. варяжской дружины Рюрика из племени «россов», которое Карамзин, вслед за летописцем, считал шведского происхождения. Важным элементом его концепции явилось предположение, что за некоторое время до добровольного призвания варяги-россы уже захватывали эти земли силой, но славяне сумели в тот раз изгнать чужеземцев. Однако принявшие было править местные вожди устроили такую кровавую междоусобицу, что посадские люди приняли решение о «новом призвании» варягов. Вывод нашего первого историографа очевиден: не народы славянские оказались неспособными к государственности, а местные вожди, в силу эгоизма и алчности, оказались неспособными к эффективному «договорному» правлению [Карамзин 2015, 40].

Отсюда вытекает главная и сквозная тема многотомной «Истории» — тема глубочайшего различия между правлением «праведным» (образцами которого Карамзин считает «государственный подвиг» князей московских) и правлением «неправедным», в котором автор прямо обвиняет «царя-ирода» Ивана IV Грозного. Остается добавить, что Карамзин сознательно окончил свою «Историю» «смутным временем»: ведь его изначальной задачей было описание истории «дома Рюрика», т.е. «северянской» истории пращуров князей Вяземских, приютивших летописца в своем доме и породнившихся с ним. Изложение истории «дома Романовых» автор сознательно оставил другим поколениям.

Молодой князь Петр Вяземский оказался верным идейным и литературным последователем своего учителя Карамзина: проблематика «русского северянства» станет одной из центральных в его размышлениях.

Сегодня трудно себе представить то смятение, которое охватило молодое поколение русских европейцев с началом наполеоновского нашествия 1812 г., быстрым продвижением французов вглубь России и взятием ими Москвы. Ведь на страну напало государство, которое образованным классом России ранее считалось чуть ли не образцово европейским.

О душевном состоянии князя П.А. Вяземского в те месяцы свидетельствует его переписка с А.И. Тургеневым. 16 октября 1812 г. Вяземский писал из Вологды: «Я вечер узнал по печатным известиям, что французы удаивали деревню Климову, то есть знакомое тебе Остафьево, своим посещением, и что происходила в нем маленькая сшибка. Тихое

убежище, в котором за несколько недель тому назад родились страницы бессмертной, а может быть, и никогда не известной свету «Истории» Николая Михайловича, *истории славных наших предков* (курсив мой. — А.К.), было свидетелем сражения с французами, покорившими почти в два месяца первые губернии России» [Остафьевский архив 1899—1913 I, 5].

Мы уже знаем, что «история славных предков» — это для Вяземского не дежурный оборот, а понятие вполне конкретное: «История» Карамзина для рюриковичей-Вяземских была *историей их собственных предков*. В этом контексте особо понятна бесконечная тревога Вяземского за судьбу Остафьева. Это место для него не просто «родовое гнездо», а *сакральный центр «русского северянства»*, где в глубоком уединении («тихом убежище») летописец писал Историю.

Прекрасно поняв, что в письме младшего друга речь идет не только о бедствиях войны, но о *цивилизационном вызове* идентичности «русских северян», А.И. Тургенев постарался успокоить и воодушевить молодого князя-рюриковича. 27 октября 1812 г. он написал из Петербурга ответное письмо: «Война, сделавшись национальной, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться *торжеством Севера* и блистательным отомщением за бесполезные злодейства и преступления *южных варваров* (курсив везде мой. — А.К.)» [Там же, 6].

Первая серьезная попытка Вяземского-младшего философски и литературно выстроить «русско-северную» идентичность относится, по-видимому, к началу 1816 г., когда он тяжело пережил кончину Г.Р. Державина, от поэм которого, по его собственному признанию, всегда «был без ума» [Вяземский 1878—1896 I, XI]. В большой работе «О Державине», сравнивая «северного барда» с «певцами юга», Вяземский написал: «Вижу перед собою Державина, сего единственного певца, возлежавшего среди печальных снегов Севера огненные розы поэзии, — розы, соперницы цветов, некогда благоухавших под счастливым небом Аттики» [Там же, 17].

Работая над статьей о Державине, Вяземский заново пережил детские ощущения, возникшие у него от портрета Державина (1801) работы итальянского мастера Сальваторе Тончи, где «русский бард» был изображен на фоне северного пейзажа в богатой собольей шубе и шапке. Картина Тончи стала для юного Вяземского символом русской литературы: «Живописец-поэт изловил и, если смею сказать, приковал к холсту божественные искры вдохновения, сияющие на пиитическом лице северного барда... Картина, изображающая Державина в царстве зимы, останется навсегда драгоценным памятником как для искусства, так и для ближних, оплакивающих великого и добродушного старца» [Там же, 20].

А в сентябре того же, 1816 года скончался популярный в свое время русский драматург-трагик В.А. Озеров. Молодой Вяземский получил заказ для написания вводной статьи к посмертному собранию сочинений Озерова и блестяще справился с заданием. Рассмотрев сначала «гомеровский» период в творчестве покойного драматурга, Вяземский перешел к анализу периода «северного», когда Озеров начал писать трагедию «Фингал» на мотивы «северного Гомера» — Оссиана: «Из благословенной Эллады, цветущего отечества изящного и искусств, муза Озерова перенесла его под суровое и туманное небо, прославленное однообразными, но сильными и сладостными для души песнями — северного Гомера!» [Там же, 40].

Мощным подспорьем для Вяземского послужила, конечно, позиция его кумира Карамзина, который, как известно, обожал «северную» поэзию Оссиана. В описании последней у Вяземского то и дело звучат чисто карамзинские нотки: «У него одна мысль, одно чувство: любовь к отечеству, и сия любовь согревает его в холодном царстве зимы и становится обильным источником его вдохновения» [Там же]. И далее Вяземский, который, как вскоре выяснится, в те самые месяцы обдумывал цикл собственных «северянских» стихотворений, излагает некую квинтэссенцию «северной идентичности»: «Северный поэт переносится под небо, сходное с его небом, созерцает природу, сродную его природе, встречает в нравах сынов ее простоту, в подвигах их мужество, которые рождают



в нем темное, но живое чувство убеждения, что предки его горели тем же мужеством, имели ту же простоту в нравах и что свойство сих однородных диких сынов севера отличны были природою в общем льдистом сосуде» [Там же, 40–41].

Северная природа, по мысли Вяземского-критика, обусловила и особенности русской литературы, и в этом смысле отечественная поэзия сродни «оссиановской»: «Самый язык наш представляет более красот для живописания северной природы. Цвет поэзии Оссиана может быть удачнее, обильного в оттенках цвета поэзии Гомеровой, перенесен на почву нашу. Некоторые русские переводы песней северного барда подтверждают сие мнение» [Там же, 41].

А 22 ноября 1819 г. начинающий поэт Вяземский переслал А.И. Тургеневу начатое в Петербурге и только недавно законченное в Варшаве стихотворение «Первый снег», добавив следующий комментарий: «Тут есть русская краска, чего ни в каких почти стихах наших нет. Русского поэта по физиономии не узнаешь. Вы все не довольны в этом убеждены, и я помню, раз и смеялись надо мною, когда называл себя *отличительно русским поэтом* (курсив мой. — А.К.), или стихомарателем; тут дело идет не о достоинстве, а об отпечатке; не о сладкоречивости, а о выговоре; не о стройности движений, а о народности некоторых замашек коренных» [Остафьевский архив 1899–1913 I, 357].

В самом зачине своего «Первого снега» Вяземский открыто противопоставляет себя, «северянина», сына «пасмурных небес полуночной страны», «обвыкшего к свисту вьюг и реву непогоды», — обитателю юга, «нежному баловню полуденной природы» [Вяземский 1986, 130]. Только «северянин», согласно Вяземскому, способен глубоко прочувствовать истинное «воскресение» природы. Ведь еще вчера: «Унынье томное бродило тусклым взором / По рощам и лугам, пустеющим вокруг / Кладбищем зрелся лес; кладбищем зрелся луг». А уже сегодня: «Лазурью светлую горят небес вершины, / Блестящей скатертью подернулись долины, / И ярким бисером усеяны поля. / На празднике зимы красуется земля». Стихотворение Вяземского завершается ни много ни мало *клятвой поэта* беречь это драгоценное «северянское» ощущение: «Клянусь платить тебе признательную дань; / Всегда приветствовать тебя сердечной думой, / О первенец зимы, блестящей и угрюмой! / Снег первый, наших нив о девственная ткань!» [там же, 131–132].

10 декабря 1819 г. Тургенев написал из Петербурга ответное письмо Вяземскому, предварив его дружески-шутивным обращением: «Мой милый Делиль Андреевич!» [Остафьевский архив 1899–1913 I, 369]. Тургеневу, наверное, казалось, что он делает комплимент другу, сравнивая его стихи, которые оценил за красоту и энергию слога, с поэзией модного француза Жака Делиля. То, что, написав «Первый снег», Вяземский претендовал на нечто принципиально иное, Тургенев, увы, не понял: «Но почему же ты по этим стихам называешь себя преимущественно русским поэтом и находишь в нем русские краски? Эти стихи более других принадлежат блестящей поэзии французской: ты в них Делиль. Описание, манер — его, а не совершенно оригинальный» [Там же, 369–370].

Находясь в понятном раздражении, Вяземский 19 декабря ответил Тургеневу: «Отчего ты думаешь, что я по первому снегу ехал за Делилем? Где у него подобная картина? Я себя называю *природным русским поэтом* (курсив мой. — А.К.), потому что копаюсь все на своей земле. Более или менее ругаю, хвалю, описываю русское» [Там же, 376]. И далее Вяземский прямо перечисляет то «отличительно русское», что он, как поэт, пытается описать: «русскую зиму, чухонский Петербург, петербургское рождество и пр. и пр.; вот что я пою» [Там же, 376–377]. Вяземский заканчивает дружескую отповедь Тургеневу словами: «В большей части поэтов наших, кроме торжественных од, и то потому, что нельзя же врагов хвалить, ничего нет своего». И делает многообещающий вывод: «Вот, моя милуша, отчего я *пойду в тотмство с российским гербом на лбу* (курсив мой. — А.К.), как вы, мои современники, ни французьте меня» [Там же, 377].

# Концепты “смерть” и “старость” в лирике П.А. Вяземского

И.Е. Прохорова

Интерес к опыту осмысления феноменов старости и смерти в лирике Вяземского имеет давние корни, недаром его нередко называли «поэтом мысли». Этот интерес отразился во многих исследованиях, среди которых стоит особо выделить монографию М.И. Гиллельсона [Гиллельсон 1969], вступительные статьи В.С. Нечаевой и Л.Я. Гинзбург к собраниям стихотворений Вяземского [Нечаева 1935; Гинзбург 1986], а также появившиеся уже в 2000-х публикации [Бондаренко 2014; Букина 2011; Митрофанова 2007; Моторин 2010 web]. Однако если первые часто (и, вероятно, вынужденно) стремились показать размышления Вяземского на темы смерти и старости как размышления «безбожника», даже «богоборца», то последние, напротив, часто преувеличивают православные интенции в соответствующих высказываниях поэта, в целом в его многосложной «колеблющейся» мировоззренческой позиции. Целостных работ, специально и притом по возможности объективно анализирующих концепты «смерть» и «старость» в их взаимосвязях в лирике П.А. Вяземского, практически нет, что делает актуальной поставленную в нашей статье задачу.

К проблеме восприятия смерти Вяземский обратился уже в раннем, незаконченном и до сих пор почти не привлекавшем внимание ученых стихотворении «Из области тайной...», написанном, видимо, в 1814 г. на кончину первенца (опубликовано лишь в 1935 г.). Поэт размышляет о божественном промысле, о «благости кроткой благого отца» в ситуации, когда умирает младенец, а уныние родителей считается греховным. Он обращается к Творцу с риторическим вопросом: «Иль буду я думать, / Что ропотом сердца, / Тобою мне данным, / Могу я в день скорби / Тебя оскорбить?». Безутешный отец готов отказаться от земной жизни, чтобы «в стране безразлучной, безоблачной, мирной» встретиться с душой «утраченного сына». Но его сознание остается в кругу неразрешимых противоречий: «Законов предвечных / Премудрости тайной / Ты не дал постигнуть» (см.: [Вяземский 1935, 87–94]). Здесь Вяземский впервые высказался о непостижимости для него христианского смысла смерти, которая призвана «и скорбию» дружить «нас с небесами», как утверждал, например, В.А. Жуковский в одном из поразивших Вяземского стихотворений 1819 г. [Жуковский 2000, 121].

Позднее концепт «смерть» наиболее ярко разрабатывается в лирике Вяземского уже в непосредственной связи с концептом «старость» и темой «последнего возраста» (выражение, заметим, входило в словарь писателя [Вяземский 1878–1896 VIII, 128]). Их трудное осмысление-переживание станет основой пронзительной «поэзии старости» — одного из самых значительных творческих достижений Вяземского на протяжении четырех десятилетий жизни поэта — с 1837 г., отмеченного созданием стихотворения «Я пережил», и практически до последних дней жизни в 1878 г.

В стихотворении «Я пережил» впервые четко проявилось повышенное внимание 45-летнего Вяземского к философским и психологическим проблемам старости и конечности человеческой жизни. Толчком к его написанию стала череда смертей дорогих поэту людей — дожившего до преклонных лет И.И. Дмитриева и ушедшего в расцвете сил А.С. Пушкина. Наступающая старость рисуется в образе сужающегося горизонта, который «с каждым днем всё ближе и темней», причем значимость этого образа для Вяземского подтверждается его почти дословным повтором в стихотворении «Битва жизни» (1861). В стихотворении 1837 г. впервые дан и запоминающийся психологический автопортрет поэта, с которым «жизнь разочлась» и «мир души» которого всё «безлюдней и бедней»: «Во мне найдешь, быть может, след вчерашний, / Но ничего уж завтрашнего нет» [Вяземский 1986, 261].

Развитием этих лирических мотивов в отношении всего «старого поколения», оскудевшего «смертью ближних» и уже не рвущегося «в жизнь, как в бой», доживающего «печально век свой», подобно «развалинам», стало стихотворение «Смерть жатву жизни косит, косит...» (1840) [Вяземский 1986, 270–271]. Возникающий в первой же строке традиционный образ смерти с пугающей косой будто подчеркивал несогласие автора с трактовкой смерти в известном ему одноименном стихотворении Е.А. Боратынского 1828 г.: «Смерть дщерью тьмы не назову я / ...О дочь верховного Эфира! / ...В руке твоей олива мира, / А не губящая коса» [Боратынский 2002, 210, 211]. Вяземский акцентировал, напротив, роль смерти как силы, драматизирующей противостояние «старое» – «новое» в мире людей, верно отмечая, что под знаком смерти смена поколений порождает жесткие ментальные конфликты: «Живых нам чужды впечатленья, / А нашим – в них сочувствий нет» [Вяземский 1986, 271].

Интересно, что, когда в конце 1850-х конфликт «отцов и детей» обострился, поэт всё же выступил со «Словом примирения» (1858), апеллируя к вечному «порядку» мироздания: «В самом законе увяданья / Есть обновления завет». Он призывал всех к «общему труду» во имя неостановимого, но «постепенного развития» и напоминал молодым: «Другие придут вам на смену, / Как вы на смену нам пришли» [Вяземский 1935, 299]. Философски мудрые строки о необходимости сотрудничества поколений, приобретшие тогда публицистическую злободневность, современниками, по словам поэта, услышаны не были [Вяземский 1935, 513].

Уже с середины 1840-х гг. в лирике Вяземского стала педальроваться тема напряженного ожидания собственной смерти. Едва разменяв шестой десяток, под впечатлением от прощания с И.А. Крыловым и Е.А. Боратынским в 1844 г. он написал стихотворение, «закольцованное» вопросом «Уж не за мной ли дело стало?». Смертный час видится поэту одновременно как «час страшный пробужденья» и как «отбой», когда «придется», несмотря на «ненасытный пыл» жизни, «хладным сном заснуть до утренней звезды» [Вяземский 1986, 279]. Здесь вновь проявилось довольно сложное отношение поэта к традиционному христианскому восприятию кончины как «великого таинства», когда происходит «рождение человека из земной временной жизни в вечность», ведь светлый мотив спасения, предстоящего обретения «истинной жизни» [Игнатий (Брянчанинов) 1862 web] у Вяземского явно приглушен.

Вместе с тем, судя по стихотворению «Утешение» (1845), поэт тогда весьма остро осознавал необходимость памяти смертной и подготовки христианина к смерти, обретения «отрады» в молитве, в «Божьем доме», где его «внутренний слух» внимал именно «смерти призывному гласу», ощущая себя «на пороге / Последнего страшного дня» [Вяземский 1878–1896 IV, 289–290]. Внимание исследователей давно привлекли оптимистические строки «Утешения» о том, что дух поэта «окреп под ненастьем», и позднейший комментарий к ним автора, признавшего их «поэтической ложью» [Вяземский 1935, 42]. Мнения ученых здесь разошлись, демонстрируя обозначенные нами в начале статьи противоположные тенденции. С нашей точки зрения, оба процитированные высказывания Вяземского обусловлены постоянными колебаниями в философских исканиях поэта, которые не были связаны только с болезненной ипохондрией в старческие годы. Идеи деизма, вообще просветительская философия с её скептицизмом и амбивалентностью в вопросах вероисповедания, усвоенные Вяземским в молодости, продолжали влиять на его миропонимание, систему ценностей до конца жизни, хотя никогда и не определяли их полностью.

Ставя вопрос о приготовлении человека к «последнему дню», Вяземский не мог не размышлять и о готовности человека к «последнему возрасту». О задаче психологической адаптации – умении жить «в уровень с годами» Вяземский писал в стихотворении «Старость» (1861 или 1862?). В этом переложении «Стансов» Вольтера 1741 г. Вяземский отошел от типичных для его собственной «поэзии старости» форм саморефлексии и лирических излияний ради поэтического воплощения некой внеличностной сентенции. Отсюда афористичность начала («Беда не в старости. Беда / Не состареться с жизнью вместе»), относительно небольшой объем текста и четкость строфики (четыре четверостишия,

написанных четырехстопным ямбом). В эпиграфе к стихотворению и в его финале сохранилась прямая отсылка к «правоте» Вольтера, утверждавшего, что «несчастливы» старики только тогда, когда в них «чувства и умы не одногодки с сединами» [Вяземский 1986, 369]. Возможно, в сознании Вяземского эти давние стихи «фернейского» мудреца актуализировала публикация в 1858 г. вариантов их перевода А.С. Пушкиным в 1817 г. Однако в отличие от юного Пушкина стареющий Вяземский минимизировал эпикурейские намеки и интонации, усилив общефилософский пафос темы счастья/несчастья старости и неприемлемости геронтофобии.

Важное место в поэтических размышлениях Вяземского 1850-х гг. занимает концепция двух вариантов старости человека – тягостно-мрачной и «бодрой» – в зависимости от предшествующего жизненного опыта. Печальный опыт самого поэта довольно подробно рассматривается в стихотворении «Сознание» (1854), которое начинается с констатации: «Я не могу сказать, что старость для меня/ Безоблачный закат безоблачного дня. / ...Я к старости дошел путем родных могил./ Я пережил детей, друзей я схоронил». Оглядываясь назад, Вяземский строг в самооценках: «боец без мужества и труженик без веры», который «жизни таинства и смысла не постиг», «не сумел нести святых ее вериг», оставил «праздным» свой талант и пожелал невозможного – «промисл обмануть», «призванью вопреки». «Минувших дней итоги» неутешительны: «И чужд был для меня созревшей жатвы день» [Вяземский 1986, 327].

Вяземский здесь не просто воспроизвел распространенную в мировой литературе ассоциацию старости и времени жатвы (кстати, своеобразно отраженную им и в стихотворении «Смерть жатву жизни косит, косит...»), но вступил в диалог со многими философами прошлого. Например, со всегда занимавшим его Вольтером, которому приписывают афоризм о старости как «золотой жатве» для человека ученого и тяжелом бремени для глупца. А в финальных строках «Сознания» можно услышать переключку с другим знаменитым французом – Монтенем, остро поставившим проблему «науки умирания» в книге «Опыты», одна из глав которой так и называлась «О том, что философствовать – это значит учиться умирать». Вяземский же заканчивает лирическую исповедь горькими словами: «И видя дней своих скудеющую нить, / <...> / Я только сознаю, что разучился жить, / Но умирать не научаюсь» [Вяземский 1986, 328]. С бесстрашной откровенностью поэт обрисовал подобное психологическое состояние не-жизни и не-смерти как желание однообразных дней в позднейшем стихотворении: «Я жить устал – я прозябать хочу» [Вяземский 1986, 390].

В стихотворении «12 июля 1854 года» поэт прямо противопоставил собственную старость «последнему возрасту» Н.М. Карамзина и Жуковского – тогда уже покойных его старших друзей и наставников. «Примером» жизни, которая «на земле ...созрела для небес», стала «бессмертья светлого задаток и начало», объявлялась жизнь Карамзина. Старость Жуковского сравнивалась с «цветущей весной». Не менее парадоксальной, чем это сравнение, кажется самохарактеристика – «забытый смертью гость на жизненном пиру». Не сумевший вовремя «подчинить себя их (друзей – *И.П.*) строгому примеру», поэт склонен видеть в своем очередном дне рожденья «поминки так легко убитых» им годов [Вяземский 1935, 274–277]. В результате христианские мотивы раскаяния весьма своеобразно переплетаются с почти не скрываемыми Вяземским упреками высшим силам, проделавшим его старость.

Эти мотивы прозвучали и в стихотворении «А есть же где-нибудь приютный уголок...». Возможно, не без «подсказки» Жуковского, в последние годы жизни работавшему над поэмой об Агасфере, Вяземский обращается к этому легендарному герою, «на коем божья кара» вечной жизни до Страшного суда. Но для лирика главное – сопоставление участи бессмертного скитальца с собственным психологическим опытом старика, лишённого надежды на смерть как «пристань тихую», на избавление и от томительности дней и ночей, и от «расслабленности» воли. А «упавший дух» грозил «ленивым сном души», равнодушием к ближнему и к «книге чудной таинственной природы», к самой «книге жизни» [Вяземский 1935, 274–277].

Знаковой предстает датировка Вяземским «Эпитафии себе заживо» сочельником (кануном Рождества) 1871 г. Мысль, заявленная ещё в 1837 г. в стихотворении «Я пережил» («Во мне найдешь, быть может, след вчерашний, / Но ничего уж завтрашнего нет»), в «автоэпитафии» доведена до предела: «Того, которого вы знали, / Того уж Вяземского нет» [Вяземский 1986, 402]. Интересно, что не предназначавшееся для публикации произведение сопровождалось характерным комментарием: «Стихи не хороши, но правдивы» [Вяземский 1986, 525]. Точность, с которой Вяземскому удалось выразить острейшую для многих стариков психологическую проблему потери идентичности, очевидно, предопределила повтор автором формулы «поминки по себе самом» в послании «Из Царского Села в Ливадию» [Вяземский 1986, 402]. Концепты «старости» и «смерти» всё активнее включали в свою сферу самопрезентацию доживающего восьмой десяток поэта не только как «заживо отпетого» другими «останка старины» [Вяземский 1935, 387], но и как «живого труп», способного лишь на «самоотпевание».

В год 80-летия в своей мучительно «продленной» старости Вяземский склонен винить уже не столько себя (что характерно для стихотворений 1854 г.), сколько «злонамятливого бога» (курсив поэта). Трагическое восприятие «злой памяти» бога — «палача», оставившего его «забытым каторжником на каторге земной» (ср. данное ранее самоопределение «забытый смертью гость на жизненном пиру»), мощно передано в стихотворениях 1872 г. «Все сверстники мои давно уж на покое...» [Вяземский 1986, 403] и «Свой катехизис сплошь прилежно изуча...» [Там же, 404]. Мрачен финал стихотворения «Куда девались вы с своим закатом ясным...» (1875), воплотившего раздумья старика, которому «в тягость» жизнь: «И спрашиваю я: где ж благодать провиденья? / И нет ответа мне на скорбный мой вопрос» [Вяземский 1935, 365]. Так скептические вопрошания, намеченные в стихотворении 1814 г. на смерть сына, с новой силой артикулированы Вяземским в конце собственной жизни.

Ещё одна ментальная сфера, напрямую связанная с концептами «смерть» и «старость» — сфера посмертной памяти. В лирике Вяземского с ранних лет звучал мотив памяти об ушедших, но наиболее концептуальным в этом отношении представляется стихотворение 1864(?) г. «Поминки». В нем развито понимание памяти как «живого» и оживляющего самого вспоминающего «потока», который отражает минувшее во всем его разнообразии: «Дело пополам с бездельем, / Труд степенный, неги лень» [Вяземский 1986, 391]. При этом ёмко характеризуется и противоречивый комплекс переживаний поэта, погруженного в «поток» памяти: «Сладко мне, свежо и больно, / Сердцу тяжело и легко» [Там же, 392]. Для нашего анализа представляет интерес также высказанная Вяземским в стихотворении «Тропинка» [Вяземский 1986, 286–288] мысль, что светлые мгновения старости — это мгновенья, когда душа открывается картина «милой старины» и поэт, «с смиренным умиленьем», может принести цветы «на тихие могилы милых ближних».

В этом контексте закономерно внимание Вяземского к вопросу о том, в каком уголке земли сам он хотел бы обрести последний покой. В «Баденских воспоминаниях» (1854) говорится о готовности умереть и «на чужбине», в Баден-Бадене, ведь там его тоже окружали «родные могилы» — дочери Надежды и Жуковского. «Знакомство» [Вяземский 1935, 277–278] с ними во время первого посещения Вяземским этого курортного городка в марте 1854 г. и навело строку: «здесь вчуже я уж дважды умирал».

Важнейшая составляющая темы посмертной памяти — тема творческого бессмертия, и, конечно, волнующая каждого автора — собственного «памятника нерукотворного». Смиренная самокритичность Вяземского (пусть не без дани романтическому эгегическому канону) сказала уже в раннем стихотворении «Уныние» (1819): «...мой пожравшая уединенный прах, / Забвеньем зарастет безмолвная могила» [Вяземский 1986, 133]. В ожидаемо скептическом ключе тема посмертной славы разработана в стихотворениях «Лукавый рок его обчел» и «Игрок задорный, рок насмешливый и злобный» (между 1873 и 1875). И хотя в первом из них используется отстраненная форма рассказа о некоем «не вовремя» рожденном «бедняке», не вызывает сомнений автобиографический подтекст этого образа, на что уже указывали комментаторы. Автор стремится осмыслить причину, почему его герой, умирая, не мог сказать «Воздвиг я памятник себе!», и предлагает,

обыгрывая сюжет евангельской притчи, диалектическую формулу: «Талант не в землю он зарыл, / Но в ход пустить не удалось» [Вяземский 1986, 408]. Это объяснение детализируется во втором стихотворении, указывающем на судьбой дарованный «дилетантизм» лирического героя как главное препятствие на его пути к бессмертию. Однако в финале все же утверждается надежда, что поэт рожден «не напрасно» и «в семье людей не всем ...чужой» [Вяземский 1986, 408], как и его «улетающий минутный голос» [Там же, 409].

Нельзя не заметить различия в подходе Вяземского к теме творческого бессмертия и к теме бессмертия человека в её христианской трактовке. Если ощущение собственной несостоятельности в обретении посмертной славы вызывает сожаление, то раздумья поэта о возможности жизни в «загробной стороне» сопряжены в основном с негативными эмоциями. Сама мысль о том, «не книги ли одной и жизнь и смерть два тома», высказанная в стихотворении «Мне всё прискучилось, приелось, присмотрелось» (1863), кажется поэту трагичной. У разочарованного первой частью этой книги «вторую часть прочесть охоты нет» [Вяземский 1935, 323]. Неприятие христианского постулата об ожидающей человека загробной жизни прозвучало и в лирической миниатюре «Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду...» (1871) [Вяземский 1986, 402], и в шестистишии, начинающемся строками: «Нет, нет, я не хочу и вовсе мне не льстит / Чтоб жизнь в последние минуты расставанья / Мне в утешение сказала: *до свиданья*» (1876) [Вяземский 1986, 410].

Вместе с тем в стихотворениях 1870-х гг. продолжали звучать смелые признания в собственных слабостях и немощах, в которых можно увидеть и верность христианской исповедальной традиции. Посещали Вяземского и мечты соединиться с ушедшими ранее его братьями в «загробных объятьях» [Вяземский 1935, 377]. О спасительной силе религии для «бойца», утомленного «битвой дня» [Вяземский 1935, 375], прямо говорилось в стихотворении «Вхожу с надеждою и трепетом в твой храм...», которое автор, по предположению Нечаевой, планировал включить в «собрание» стихотворений под общим названием «Хандра с проблесками» (1876?).

Вообще это «собрание» — один из последних замыслов Вяземского — до сих пор, представляется, недооценен и недостаточно изучен исследователями. Семь из десяти входивших в него произведений в концентрированном виде отражали почти все рассмотренные в данной статье основные темы и образы «поэзии старости» Вяземского с господствовавшим в ней настроением «хандры» и скепсиса. Хотя степень и характер их проявлений, конечно, различны в стихотворениях «Пью по ночам хлорал запоем...», «И жизнь, и жизни все явленья...», «Чувств одичалых и суровых...», «Загадка», «Я прозябаемого царства...», «Цветок», ««Такой-то умер», — что ж? Он жил да был и умер...». Совсем иным идеям и настроениям — способности наслаждаться воспоминанием как «старости цветом», готовности «старца с печальной улыбкой» спокойно «приветствовать желтые листья и близкий последний свой день» (см.: [Вяземский 1935, 372, 375—376]), которые, как показано выше, также посещали позднего Вяземского — посвящены стихотворения «Жизнь коротка: но в ней не все же скоротечно...», «Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм...» и «Уж падают желтые листья».

К сожалению, рамки данной статьи не позволяют подробнее остановиться на анализе этого замысла, как и венчающего «поэзию старости» Вяземского стихотворения «Жизнь наша в старости — изношенный халат» (между 1874 и 1877). Скажем только, что в последнем размышлении поэта на темы старости дополнились пластически и психологически емким сравнением «жизни в старости» с «изношенным халатом», который представлен как вполне достойный уважения атрибут долгого творческого труда («чернилами ...расписан, окроплен») и борьбы (сопоставление с «плащом, простреленным в бою») [Вяземский 1986, 416].

Подводя итоги, надо отметить, что от стихотворения к стихотворению смысловое пространство концептов «смерть» и «старость» в лирике Вяземского заметно обогащалось и, конечно, менялось под воздействием меняющегося времени и, конечно, жизненного опыта поэта. И хотя впервые поэт обратился к теме смерти ещё в молодые годы в связи с потерей первенца, постоянной она стала уже в зрелом творчестве Вяземского, естественно соединяясь с темой старости. Судьбою данное творческое долголетие позволило

поэту едва ли не с энциклопедической полнотой передать многообразные философские и психологические проблемы «последнего возраста» и восприятия смерти. Как показал анализ, в лирике Вяземского, обращенной к концептам «смерти» и «старости», наиболее значимыми стали концепция двух вариантов старости, вопросы о возможностях адаптации к ней и «самоотпевании», о ментальном конфликте поколений и перспективах «общего труда», а также размышления о жизни после смерти («втором томе книги жизни»), о посмертной памяти и творческом бессмертии. Причем бытийная рефлексия Вяземского тем интереснее для современных читателей и исследователей, что в ней отразились напряженные духовные искания поэта с серьезной просветительской закладкой и сложным отношением к традиционному христианскому пониманию феноменов жизни человека в старости, смерти и бессмертия, постоянный диалог на эти темы со многими авторами — предшественниками и современниками.

## **Идеалы просвещения и национальная литература: эстетическая программа П.А. Вяземского\***

**О.А. Жукова**

Интеллектуально наследие Петра Андреевича Вяземского (1792–1878) одаренного поэта и литературного критика, близкого друга Карамзина, Жуковского и Пушкина раскрывает сложный путь формирования смыслового пространства русской культуры, универсализации эстетических ценностей и способов их выражения в «метафизическом языке». Именно в общении Вяземского с Карамзиным и Пушкиным следует искать истоки его просветительской программы интеллектуального и эстетического совершенствования человека через образование, творческие практики культуры и воспитание гражданственности. Так, Вяземский — не только постоянный собеседник Пушкина, поверенный в его творческих делах, критик и защитник, но и генератор идей, которые объединяют поэтов. В письме к Вяземскому от 7 июня 1824 года Пушкин, горячо откликаясь на инициативу своего старшего друга, признается: «То, что ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит у меня в голове. ...Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно независима. Мы одни должны взяться за дело и соединиться» [Пушкин 1977–1979 X, 72–73].

Устремления Вяземского и Пушкина направлены на созидание национальной литературы и культуры, что созвучно духу их эпохи. Патриотический настрой элиты обусловлен военно-политическими успехами Российской державы. Оценивая результаты европеизации России, Вяземский разделяет пафос, отвечающий благородному духу участника Отечественной войны 1812 г., встретившего победу в Париже, но сожалеет, что военная слава затмила русскому обществу внутреннюю цель проявлять усилия на ниве просвещения и образования: «Общество наше, гражданственность наша образовалась победами. Не медленными, не постепенными успехами на поприще образованности; не долговременными, постоянными, трудными заслугами в деле человечества и просвещения; нет! быстро и вооруженною рукою заняли мы почетное место в числе европейских держав ...Военное достоинство было почти единою целью, единым упованием и средством для высшего звания народа, которое должно было вначале сосредоточивать в себе исключительно лучи просвещения, медленно разливавшегося по нижним ступеням общества» [Касаткина (ред.) 1988, 28].

---

\* Исследование финансировалось в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации “5–100”.

© Жукова О.А., 2018 г.

Эту задачу формирования русской культуры в духе просветительских идей воспитания нации, ее художественного и исторического самосознания, Вяземский вменяет себе одновременно как творческую миссию и гражданскую обязанность, ориентируясь на вдохновляющие примеры гениальных авторов – архитекторов новой России. Для Вяземского, прожившего долгую жизнь, навсегда культурными героями остаются великий реформатор Петр, вернувший Россию в историю христианских народов Европы, наставник поэта Карамзин, открывший для русских историю своего Отечества, друг и соратник по литературным делам Пушкин, универсальный гений русской культуры. В восприятии позднего Вяземского время необычайного расцвета творческих сил молодой русской нации приобрело смысл историко-культурной эпохи, давшей первые художественно совершенные образцы творчества – «русскую классику» как осуществление русской культуры (см.: [Кантор 2005]).

В интеллектуальной и социальной истории России русская классика предстает как синтез ценности модерна и национальных духовных традиций, выраженных в высоких практиках культуры – в философии, политике, религии, искусстве, литературе. Классицизм и сентиментализм XVIII в., выражающие эстетическую программу Просвещения, а также утвердившиеся позднее романтизм и реализм, важны в истории национальной культуры как опыт художественного самосознания. В рамках данных стилей и направлений русская литература и искусство вырабатывают оригинальный эстетический тезаурус – *национальный словарь культуры, ее художественный лексикон*.

Эстетическая программа Вяземского базировалась на русской версии модерна, которая использовала универсальное «лекало» эпохи Просвещения, ее идеи, ценности, язык художественного и философского самоописания и предъявила изумленной Европе *классические* по своему художественному совершенству и идейному содержанию опыты творчества с национальной тематикой и на национальном языке, обогащая историю христианской цивилизации Запада и Востока. Показателен пассаж Вяземского, заметившего, что история русского литературного языка тесно связана с эстетическими свойствами и конструктивно-логическими возможностями французского: «Замечательно, что три наши правильнейшие и лучшие прозаики, Карамзин, Жуковский и Пушкин, писали почти так же свободно на французском, как и на своем языке. Следовательно, галлолюбие или французмания не враждебны правильному развитию русской речи» [Вяземский 2003, 476–477].

Действительно, концептуальным ядром эстетической программы Вяземского стал язык как форма выражения мысли. Недаром к умному и рефлексорирующему Вяземскому обращен призыв Пушкина применить свой талант на поприще русской словесности: «Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластия, образуй наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах, – а там что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России», – увещевает Вяземского Пушкин в письме от 1 сентября 1822 года [Пушкин 1977–1979 X, 36]. Для общественного служения творчеством в Вяземском счастливо соединяются возвышенный ум, непредвзятость суждений, простодушие в сочетании с иронией. Обладатель этих даров судьбы, Вяземский, обладает редкой способностью «оригинально выражать мысли» [Пушкин 1977–1979 VII, 47].

Опыт Вяземского чрезвычайно ценен для Пушкина, поскольку языковое творение вне опоры на мысль, по мнению автора «Руслана и Людмилы», невозможно. Это понимание литературы как *мысли-слова* разделяет и А.А. Бестужев. Для будущего декабриста, пишущего статью о состоянии русской литературы в 1823 году, родной язык уже вышел из своего ученического состояния и в чем-то превзошел языковое богатство старых литературных языков Европы. Однако русская словесность все еще бедна численностью творений, но главный недостаток – у нее «мало творческих мыслей» [Назарьян, Фризман (ред.) 1991, 116]. «Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то, – но луч мысли редко блуждает по его лицу», – сокрушается Бестужев [Там же, 116]. И здесь же вопрошает: «И вечно ли спать ему?», предвидя могучее пробуждение «младенца Алкида» [Там же].



Именно новаторство мысли, облаченной часто в иронию с философическим оттенком, ценит в Вяземском-критике Пушкин. Если даже его критика бывает «поверхностна и несправедлива», то «...образ его побочных мыслей и выражения резко оригинальны, он мыслит, сердит и заставляет мыслить и смеяться: важное достоинство, особенно для журналиста», — признается Пушкин в письме от 31 августа 1827 года к Погодину [Пушкин 1977–1979 X, 183]. Эту оценку дарования Вяземского Пушкин еще раз высказывает в своей литературно-критической заметке «О статьях кн. Вяземского» (1830): «Критические статьи кн. Вяземского носят на себе отпечаток ума тонкого, наблюдательного, оригинального. Часто не соглашаешься с его мыслями, но они заставляют мыслить. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает необыкновенною силою рассуждения (discussion) и ловкостью самого софизма» [Пушкин 1977–1979 VII, 89–90]. К заслуге Вяземского Пушкин относит и его журналистскую корректность. Своими эпиграмматическими разборами он никогда не наносит личного оскорбления, тогда как его литературные противники нередко задевают честь «члена общества и даже гражданина» [Там же, 90].

Еще один структурный элемент эстетической программы Вяземского — это историзм как принцип творческого национального самосознания. Литература как история культуры и история как большой жанр литературы — очень точно подмеченная Гоголем черта художественного мышления Вяземского. Именно такую роль в жизни общества поэт и критик отводит литературе, рассуждая о ней в своем труде «Фон-Визин». Тезис Вяземского о том, что «История литературы народа должна быть вместе историею и его общежития» [Касаткина (ред.) 1988, 26] является основополагающим в его эстетической программе и проясняет представления о существовании истории и культурного просвещения. Только в соединении с историей литература может иметь «...для нас нравственное достоинство и поучительную занимательность. Если на литературе ...не отражаются мнения, страсти, оттенки, самые предрассудки современного общества; если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо господству и влиянию современной литературы, то можете заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества» [Там же].

Утверждение Вяземского близко идеям, высказанным Жерменой де Сталь, самой блестящей женщиной-интеллектуалкой своей эпохи, поклонницей республиканской формы правления. Труд де Сталь «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями» (1800) есть плод культурной программы Просвещения, ее политической мысли и эстетической идеологии. Представление Вяземского о литературе отвечает духу эстетики позднего Просвещения, ее предромантической формуле, данной мадам де Сталь в этой книге. Писательница, обосновывая новый принцип истории литературы, предлагает рассматривать литературу как путь развития человеческого разума в свободе и связывает ее с историческими фазами и состояниями общественной и культурной жизни. Важнейший пункт в труде де Сталь — показать неразрывную связь литературы с национальным духом. «Я намерена рассмотреть, какое влияние оказывают религия, нравы и законы на литературу, а литература — на религию, нравы и законы», — обращается к читателю во введении автор [Сталь 1989, 66] и на протяжении книги разворачивает впечатляющую картину развития древней, средневековой и современной литературы народов Европы. Отношение литературы к добродетели, к славе, к свободе и счастью составляют методологию и концептуальный план литературно-эстетического исследования де Сталь.

В философско-просветительской версии Жермены де Сталь литература важна как история культуры различных народов и цивилизаций. Уровень развития литературы выступает универсальным основанием культурного прогресса, как отдельных народов, так и всего человечества. Важно, что эту просветительскую идею Вяземский излагает в своем главном литературно-критическом труде о Д.И. Фонвизине. Данная идея конституирует его опыт понимания литературы. История литературы, по Вяземскому, это и способ самозаписи истории, своего рода, особая техника наррации, и пространство ценностей

и смыслов, актуализируемых примерами литературных героев. Вяземский предлагает типологию литературы, различая два явления словесного творчества в широком смысле. Первая — литература мысли и чувства, выражаемая в даре слова, «одна для народа то, что дар слова для человека: то, чем передает он себя ближним и потомству; то, чем он человек, то есть существо мыслящее и чувствующее. Человек без сего способа выражать себя и народ, не имеющий сей литературы, существа неполные, не достигающие цели бытия своего» [Касаткина (ред.) 1988, 26]. Вторая — есть искусство изящного, она находится «в разряде вспомогательных, уже благоприобретенных способностей, коими ум человеческий прихотливо выражает мысль свою, коими народ образующийся честолюбиво знаменует успехи свои на поприще гражданственности и умственного усовершенствования». Литературные опыты Ломоносова, Державина, Карамзина, Дмитриева, Озерова, Крылова, Жуковского и Пушкина Вяземский относит ко второму типу литературы, признавая, что пока в первом явлении словесной культуры «русское общество не выразилось литературою» [Там же, 27]. Доказательством служит факт того, что русское общество пока «не воспитано на чтении отечественных книг» [Там же, 27], никто не мыслит ни по Державину, ни по Княжнину. Проблема заключается в том, что литература не может влиять на народ, не имея своих «эпопей, театра, романов, философов, публицистов, моралистов, историков» [Там же, 27]. Критик вспоминает творческий подвиг Карамзина, создавшего историческую эпопею высокого литературно-художественного достоинства — поэму о России, но и он, «как ни сильно выразил он ум свой в творении своем, как ни верно воскресил он в нем наше прошедшее, но действие его все же должно быть одностороннее и ограничено самыми пределами предначертанного ему круга» [Там же, 27].

Высказанная Вяземским мысль, что русская литература находится в начале своего пути, и не обрела еще должной культурной роли в обществе — общая для круга авторов «Литературной газеты», где во втором и третьем номере за 1830 год было напечатано «Введение к жизнеописанию Фон-Визина». Как считает Вяземский, по своему жанровому составу, количеству и качеству сочинений национальная словесность все еще уступает литературам Европы. За неимением своего корпуса текстов, аудитория читателей ориентирована на другие образцы. Эту мысль развивает Пушкин полтора годами позже в «Рославлеве». Он сообщает читателю о героине Полине, которая в библиотеке своей не имела «ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала», плохо знала родной язык и «ничего по-русски не читала» [Пушкин 1977—1979 VIII, 150]. Используя прием авторского отстранения, Пушкин делает крайне важные замечания об отечественной литературе, отвечая на обвинение в том, «что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке» [Там же, 150]. Пушкин сетует на молодость и ограниченность русской словесности, отчего русская читающая публика принуждена «...всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных» [Там же]. Результат таких заимствований — отсутствие мышления на русском языке: «таким образом, и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы», — замечает Пушкин [Там же]. «Известные русские литераторы» — это сам Пушкин и Вяземский, сделавший подобное признание во «Введении» к биографии Фонвизина. Вяземский полагает, что отсутствие достаточного количества произведений коренится в *отсутствии свободных художников слова*, к которым с должным уважением к их труду следовало бы относиться власти и обществу. По мнению Вяземского, литература отечественная тогда только войдет «в состав гражданского быта нашего, в число богатств нашего нравственного достояния», когда появятся люди, готовые «исключительно посвятить себя трудам ума» [Литературная газета 1988, 43]. Только в этом случае, считает Вяземский, она станет «истинной, полной, коренной» литературой, «которая была бы живою отраслью государственного благоденствия и непосредственным существованием людей, служащих отечеству трудами ума своего, как воин служит ему на поле брани, судия в храмине закона, торговец на стезе промышленности» [Там же, 43].

Пушкин, скептически оценивающий в «Рославле» короткий путь, пройденный русской словесностью, признает, что пока немногие произведения могут быть достойны критического разбора. Но он твердо уверен, что литература как явление историческое «должна обратить на себя внимание добросовестных исследователей истины» [Пушкин 1977–1979 VII, 210]. Таковым видит Пушкин Вяземского, почитая в друге и единомышленнике недюжинные аналитические способности суждения и тонкий эстетический вкус, идущий от поэтической интуиции. По многим позициям критический талант Вяземского он ставит выше таланта Бестужева, Кюхельбекера, Погодина. Он ждет от Вяземского верного и веского суждения, точного замечания. Поэтому с таким воодушевлением и благодарностью он воспринимает работу Вяземского, известную под названием «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова», где по существу вопроса разворачивается разговор о новой русской литературе, преодолевающей подражательный схематизм европейского и русского классицизма. Более того, Пушкин считает, что работа Вяземского идет вровень с эстетической полемикой в современной литературе, указывая, что текст «писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения» [Пушкин 1977–1979 VII, 14]. Неслучайно Кюхельбекер в обзоре российской словесности 1824 г. называет кн. Вяземского, издателя «Бахчисарайского фонтана», «начальником передового войска романтиков» [Назарьян, Фризман (ред.) 1991, 272].

Справедливо утверждать, что Вяземский и Пушкин, ставящие перед собой цель совершенствовать языковые и образные формы русской словесности, — в числе первых авторов русской классики, продолжающих дело строительства национальной культуры, начатое Карамзиным в истории и литературе. *Классика* для Вяземского — это не принадлежность к стилю классицизма, но историко-культурная категория, характеризующая творческий опыт авторов с точки зрения художественного совершенства и глубины содержания творений. Это *не нормативное свойство стиля, а свойство эстетического идеала, обладающего универсальным культурным значением*. Как считает Лотман, Вяземский, продолжая отстаивать классико-просветительский идеал аристократической дворянской культуры золотого пушкинского века, не смог понять и принять нового направления в литературе. Он остался чужд демократической эстетике, что в немалой степени способствовало и поправлению его политических взглядов — движению от либеральной в сторону консервативной идеологии (см.: [Лотман 1960, 142]).

Полагаю, что не демократизация русского общества, не приход в литературу новых авторов с темами, далекими от эстетического идеализма классико-романтической культуры, были не приняты Вяземским. Предметом его критики стало заметное понижение литературного мастерства современных сочинителей, отсутствие у них чувства эстетического вкуса, игнорирование художественной правды. Именно об этом он говорит в своих знаменитых «Записных книжках», рассуждая о провинциализме в литературе, когда незнание предмета выдает в авторе или неубедительного подражателя большого литературного стиля, или дилетанта, силящегося удивить своими доморощенными художественными откровениями и языковыми псевдоновациями. «Есть еще одно слабое и болезненное место в литературе нашей, — пишет Вяземский. — Творения прежних писателей отзывались более или менее личностью их, слог их было чистое зеркало, которое отражало их самих внешне и внутренне. Ныне слог причисляется к каким-то предубеждениям и слабоумиям чопорной старины. Хотят ли порицать сочинение, по каким-нибудь поводам не соответственное понятиям и направлениям критиков, не находят более оскорбительного, более убийственного приговора, как следующий: сочинение писано Карамзинским слогом. Вот до чего утрачены всякое чувство изящного, вкус и всякое художественное понимание письменного искусства. А между тем искусство существует», — убежден Вяземский [Вяземский 2003, 301].

Вяземский, отнюдь, не «слабоумный» защитник «чопорной старины». В литературе и искусстве на первый план он выдвигает четкие критерии художественности, чистоты стиля и оригинальности творческой идеи. Поэт и критик ищет в новом

поколении дарования, *достойные вступить в великое наследство* русской литературы, не как подражатели стиля первых поэтов и писателей, а как благодарные ученики, продолжающие созидать мир русской словесности своими талантами: «Дарования, призванные оставить по себе след в истории литературы, — полагает Вяземский, — будут изучать это искусство в творениях Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина. Они ознакомятся с ними, пропитаются ими. У каждого будет свой склад, своя, так сказать, физиономия; каждый внесет в общее дело долю личности своей, не будет рабским сколком, а останется самим собой и только далее и глубже разработает поле, перешедшее ему в наследство» [Вяземский 2003, 301]. Требование, которое выдвигает Вяземский, не архаично. Напротив, оно выдает в авторе умного критика и чуткого художника, приветствующего талант, способный привнести в русскую словесность новое на прочной основе усвоенных достижений. Главное, чтобы литература была свободна от явного или неявного засилья безобразного.

Безобразное в эстетических рассуждениях Вяземского — это отрицание прекрасного, выступающего как выражение закона единства содержания и формы, художественной идеи и ее творческого воплощения, и основанного на знании изображаемой реальности. Ожидая новые таланты, когда на поприще литературы выступят «сыновья и внуки знаменитых предков», Вяземский совсем не готов, понимая эстетическое как совершенное воплощение художественной и исторической правды, разрушить его безобразным в угоду политической или писательской конъюнктуры: «И теперь, может быть, сыщется родственное сходство между многими членами живого поколения, но дело в том, что это сходство часто *безобразное*; безобразие в том и другом смысле: безобразное, потому, что оно как-то неблагоприятно, нескладно, или потому, что тут нет никакого образа, вполне и резко отчеканенного» [Вяземский 2003, 302]. Не трудно заметить: новому поколению русских авторов Вяземский завещает эстетические принципы реалистического искусства пушкинской эпохи, в котором заметно проступают черты классико-романтического идеала прекрасного. Оставаясь приверженным ценностям Просвещения, его культурно-творческой и политико-идеологической программе, Вяземский вкладывает в содержание категории прекрасного как художественно-эстетический, так и морально-духовный смысл.

Литературно-критический и поэтический опыт Вяземского вместе с Карамзиным и Пушкиным пролагает путь национальной литературы и искусства, осознающих свою самостоятельность и уникальность на фоне художественных традиций Европы и обретающих себя как целое в ряду европейской множественности культур. Носитель духа Карамзина, Вяземский наследует корпус его эстетических и историософских идей, свидетельствуя для потомков о непреходящем значении интеллектуального подвига автора первой русской истории, внесшего огромный вклад в создание современного русского языка. Самый умный собеседник Пушкина, Вяземский после его гибели до конца жизни исповедует идеалы дружбы и творчества, отдавая дань уважения и восхищения гениальному поэту. В истории русской культуры Вяземский остается, согласно пушкинской формуле, *добросовестным исследователем* исторической истины и художественной правды. Эта роль, как свидетелю века, планете-спутнику в системе творческих солнц и созвездий русской культуры XIX столетия, принадлежит ему по праву. Вяземский следует эстетической программе карамзинско-пушкинской эпохи как высшему нравственному и художественному идеалу творчества, а сама эпоха приобретает в его литературно-эстетической теории значение классики, или *эталонного* достижения русской культуры. Собственно, в этом утверждении художественного универсализма и творческого мастерства, достигнутого авторами его эпохи, Вяземский, пожалуй, первым в XIX веке выдвигает идею *актуальной классики*, подготавливая почву для эстетических теорий и культурфилософских рецепций Серебряного века.

# К истокам «положительной философии» в России: Петр Вяземский о достоинстве интеллектуальной культуры

Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин

Интеллектуальное наследие П.А. Вяземского имеет не только специфически литературоведческое значение. Его литературно-критические статьи и эпистолярное наследие содержат весьма актуальные для современного гуманитарного знания рассуждения о российской словесности, народности, языке, статусе интеллектуальной деятельности. Причем их идейное содержание может быть раскрыто в контексте традиции «положительной философии на русской почве», под которой мы понимаем (вслед за Г.Г. Шпетом) единое, внутренне связанное, цельное и конкретное знание о действительности (см.: [Пружинин, Щедрина 2015]). Как мы уже писали: «В основании «положительной философии» лежит принцип, предполагающий духовный рост и обогащение этой традиции через обращение к историческому опыту отечественной культуры, органично включавшей в себя и религиозные идеи, и моральные установки, и принципы социального устройства общества и принципы познания. Между прочим, такой подход находил выражение и в отношении русских философов к их профессиональной деятельности — они воспринимали ее не как отвлеченную, но как способ конкретного существования, способ их жизни в философии» [Пружинин, Щедрина (ред.) 2013, 10].

Именно такая — интеллектуальная — жизнь в культуре была идеалом для Вяземского и некоторых его современников (Пушкина, Карамзина, Жуковского). Неслучайно Г.Г. Шпет связывал с ними — литературными аристократами пушкинской эпохи — единственную возможность положительной, не нигилистической культуры для России [Шпет 2008, 276]. Упомянув Вяземского один раз в первой части «Очерка развития русской философии», Шпет возвращается к его идеям. Он делает конспект произведений Вяземского, акцентируя в нем то, что сегодня можно определить как важнейшую характеристику эпистемологического стиля русской интеллектуальной культуры (см.: [Шпет 2009, 539–547]). Следуя за конспектом Шпета, мы также остановимся на тех идеях Вяземского, которые, на наш взгляд, обнаруживают специфические черты, свойственные «положительной философии» на русской почве: историзм применительно к собственной философской позиции; знаково-символическая трактовка знания как культурной ценности; акцентуация личностного смысла познания; конкретность знания.

Фактически, Вяземский писал о том, что впоследствии будет определяться как «стиль мышления» в философии. Говоря о «русском покрое» в литературе, он сформулировал требование ко всей русской интеллектуальной культуре: необходимо писать по-своему и о своем: романтики и классики — это заимствованные проблемы: не собственную реальность литературы мы осмысливаем, но спорим о методологических проблемах литературы Европы. «Каким-то общим движением, все новокрещенцы нового исповедания спешили отречься от греков и римлян, как от сатаны, а от литературы их, как от дел его. У нас не было ни средних веков, ни рыцарей, ни готических зданий с их сумраком и своеобразным впечатком: греки и римляне, грех сказать, не тяготели над нами. Но романтическое движение, разумееся, увлекло и нас. Мы в подобных случаях очень легки на подъем. Точчас образовались у нас два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнее было то, что налицо не было ни настоящих классиков, ни настоящих романтиков: были одни подставные и самозванцы. Грешный человек, увлекся и я тогда разлившимся и мутным потоком. Пушкин остался тем, что был: ни исключительно классиком, ни исключительно романтиком, а просто поэтом и творцом, возвышавшимся над литературною междоусобицей, которая в стороне от него суетилась, копошилась и почти бесновалась» [Вяземский 1878–1896 I, 57; Шпет

2009, 541]. И сегодня мы также часто не вырабатываем свой взгляд на проблемы, нерелексивно заимствуя у зарубежных философов смысловую наполненность этих проблем и не размышляя о собственном интеллектуальном опыте.

Между тем, как подчеркивал Вяземский, человек, занимающийся литературной, философской или иной интеллектуальной деятельностью, должен прежде всего быть честным перед самим собой, идти своим путем. Не изображать действительность его задача, а преобразовать ее, придавая ей символический смысл. Иначе гражданственность интеллектуальной деятельности вырождается в идеологическую партийность и «социальщину» в самых худших их проявлениях (вплоть до «следственной литературы»<sup>1</sup>). Размышляя о творчестве Гоголя, Вяземский писал: «Руссо идеолог; в более тесном объеме был идеологом и Гоголь. Еще одно сравнение, более литературное и касающееся до авторства. И тот и другой, каждый в сфере своей, сильный боец против недугов общественных, язв человека и общества; тот и другой возмущаются всеми порочными явлениями, карают их беспощадно; но придется ли лечить эти недуги, научать, что должно предпринять, чтобы заменить их правильной гигиеною, ничем не возмутимым здоровьем, и тот и другой оказываются несостоятельными: они диагностики, а не целители, один в сфере политической, другой в сфере общежития. Тот и другой бываю иногда декламаторы. Посмотрите, например, в «Письмах к друзьям» все, что выводит Гоголь из перевода «Одиссеи» на русский язык Жуковским. Перевод, разумеется, литературное событие, но он возводит его в общественное, социальное, чуть не государственное. Он ожидает от него совершенного, целого переворота в русской жизни. Это ребячество. Такие ребячества встречаются и у Руссо» [Вяземский 1878—1896 II, 332—333]. И эта мысль Вяземского особенно значима для отечественной философии, которая сегодня, на наш взгляд, просто обязана воспринять традицию «положительной философии» на русской почве, если хочет по-настоящему творить интеллектуальную культуру. Именно по этой причине мы должны сегодня услышать и по-своему выразить то, что предлагал Вяземский Гоголю: «Пускай передаст он нам все нажитое им в эти последние годы в сочинениях повествовательных или драматических, но чуждый этой исключительности, этого ожесточения, с которым он донныне преследовал пороки и смешные слабости людей, не оставляя нигде доброго слова на мир, нигде не видя ничего отрадного и одобрительного. Гоголь во многих местах книги своей кается в бесполезности всего написанного им, — это неверно. Писанное им не бесполезно, а, напротив, принесло свою пользу; но оно частью вредно, потому что многими было худо понято и употреблено во зло» [Там же, 328—329].

Столь же решительно он обрушивается — за «шинельные стихи»<sup>2</sup>, за превращение литературы в прессу<sup>3</sup>, за внесение идеологии в поэзию — на Пушкина, которого ценил чрезвычайно высоко. В письме к Елизавете Хитрово он дает следующую характеристику пушкинским «Клеветникам России» и «Бородинской годовщине»: «Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать. Правительство, подчиняясь слепой, жестокой необходимости, может приговорить к смерти народ, как и частного человека, если он враждебен установленному порядку и условиям необходимым для существования; но Поэзия вовсе не должна быть помощницей необходимости, и не ее дело вмешиваться в эту прозу действительности» [Вяземский 1895, 113]. При этом, он отлично осознавал политический смысл происходящего, оттого и уточнял в «Старой записной книжке»: «Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. <...> Зачем перекладывать в стихи то, что очень кстати в политической газете» [Вяземский 1878—1896 IX, 155].

Он, конечно же, понимал неизбежность переплетения политики и культуры, и был «...готов назвать поэзию политической всякую народную или гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные, общественные истины» [Вяземский 1878—1896 I, 224; Шпет 2009, 545], но выступал против их сознательного смешивания, в котором поэзия, литература, философия теряют культурную глубину. «Нельзя не пожалеть, что во Франции политические, то наполеоновские, то бурбонские, мнения отражаются и в самих мнениях

чисто литературных. То есть нельзя не пожалеть в смысле искусства: в другом, в высшем, но не отвлеченном отношении, в отношении государственном, напротив, должно оценить с справедливостью это присутствие постоянное главных политических мыслей, придающее всему жизнь гражданственную» [Вяземский 1878—1896 II, 133—138].

Эти размышления Вяземского имеют философский смысл, они созвучны проявлениям «положительной философии» в Европе<sup>4</sup> и закладывают основы «положительной философии» в русской интеллектуальной культуре, русскость (народность) которой отнюдь не сводится к квасному патриотизму<sup>5</sup>. «Выдумать народность трудно — рассуждает он. ... По мне все, что хорошо сказано по-русски, есть чисто русское, чисто народное. Каждое теплое чувство, каждая светлая мысль, облеченная живым и стройным русским словом, есть выражение и достояние народности: будь это стих Дмитриева, которого отличают от народности, будь стих Крылова, в котором она будто олицетворилась, будь передо мною любая страница Карамзина, будь одна из хороших страниц Гоголя» [Вяземский 1878—1896 II, 311]<sup>6</sup>.

Идеи П.А. Вяземского можно рассматривать как исток «положительной философии» на русской почве еще и потому, что в них отчетливо звучит тема *конкретного* знания, т.е. знания достойного, обладающего смыслом [Достоинство знания 2016, 49]. Хотя он принимал просвещенческий идеал [Остафьевский архив 1899—1913 II, 274—275], но относился критически к назидательности (критикуя Руссо как идеолога) и отвлеченности. В частности, его замечания об исторической конкретности и рефлексивном отношении к терминологическим поискам оказываются на острие современных дискуссий в области гуманитарной методологии: «Нельзя не сознаться, — пишет он, — что неуместно и неблагоравно брать у чужого народа, и особливо же из совершенно чуждой эпохи, выражения, служившие некогда орудиями ослепленных и ожесточенных страстей, и применять их там, где нет им положительного и добросовестного смысла, где весь смысл их только относительный, и то еще в каких отношениях. Смешно, но извинительно, когда русский историк передразнивает наобум, наугад понятия, соображения и язык Гизо или Тьера, когда он кроит нашу историю по чужим вырезкам, привыкнув в звании своем журналиста мод одевать нас по парижским покроям, но из подражания или из того, что сказать что-нибудь хочется, а сказать от себя не сумеет, заводит у нас и чужеземную терминологию, запятнанную в свое время не одною грязью, оно хотя и смешно, но не извинительно» [Вяземский 1878—1896 II, 164].

Вяземский в основном рассуждал о литературе, но то, что он говорил, имеет в значительной мере более широкий смысл, что дает нам сегодня возможность видеть в нем исток складывающейся в России положительной философской традиции. Особенно ярко это проявляется в его понимании философичности Карамзина. «Некоторые обвиняют «Историю» Карамзина в том, что она не философическая; нужно бы наперед ясно и явственно определить, что должно признавать философиею истории. Если под этим выражением должно подразумевать систему и обязанность с заданной точки зрения смотреть на события, то его творение в самом деле не философическое. Но между тем должно приписать это не тому, что Карамзин не знал подобного требования новейших критиков, но тому, что, в сознании ясного и самобытного ума, он был выше этих требований. Если же принять философию в более обширном и общечеловеческом смысле, то есть в смысле бесстрастной и нелицеприятной мудрости, любви к истине и к человечеству, возвышенной покорности пред Промыслом, то «История» его глубоко проникнута и одушевлена выражением этой философии» [Вяземский 1878—1896 II, 364]. Эти рассуждения Вяземского оказываются поразительно созвучными с «положительной» философской программой, суть которой выразил Грот в редакторской статье, опубликованной в первом номере журнала «Вопросы философии и психологии»: «...построить цельное, чуждое логических противоречий учение о мире и о жизни, способное удовлетворить не только требованиям нашего ума, но и запросам нашего сердца» (Цит. по: [Пружинин Щедрина (ред.) 2013, 9—10])

## Примечания

<sup>1</sup> «Литература обратилась в какую-то следственную комиссию низших инстанций. Наши литераторы (например, автор *Губернских Очерков* и другие) превратились в каких-то литературных станковых и следственных приставов. Они следят за злоупотреблениями мелких чиновников, ловят их на месте преступления и доносят о своих поимках читающей публике, в надежде вместе с тем, что их рапорты дойдут и до сведения высшего правительства» [Вяземский 1878–1896 VII, 35; Шпет 2009, 547].

<sup>2</sup> В «Старой записной книжке» Вяземского есть запись, сделанная 14 сентября 1831 г.: «Вот что я было написал в письме к Пушкину сегодня и чего не послал. Попрошу Жуковского прислать мне поскорее какую-нибудь сказку свою. Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами)» [Вяземский 1878–1896 IX, 155].

<sup>3</sup> «Во Франции о литературе даже почти не упоминается. Это слово вытеснено другим: *la presse*, т.е. *печатность*. Выражение материального значения заменило выражение, имевшее более нравственное значение. Это не случайность, а полный смысла признак настоящего времени. Вещественность поборол духовность и, побежденная, не иначе может проявляться, как под знаменем своей победительницы» [Вяземский 1878–1896 II, 352].

<sup>4</sup> Вот характеристика «положительной философии», данная Шпетом в «Явлении и смысле»: «... положительная философия в самом существе своем носит уважение к философской традиции и видит в прошлом философского развития свои задачи и непрерывность подготовки их, положительная философия, поэтому, всегда есть философия с положительными задачами. Задача познания сущего во всех его формах и видах никогда в ней не подменялась другими задачами — от Платона и до Лотце, через Декарта и Лейбница идет ее один прямой путь» [Шпет 2005, 41].

<sup>5</sup> В «Письмах из Парижа» Вяземский замечал: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, *du patriotisme d'antichambre*. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом (Здесь в первый раз явилось это шуточное определение, которое после так часто употреблялось и употребляется)» [Вяземский 1878–1896 I, 244].

<sup>6</sup> См. также: «Многие с досадою жалуются, что у нас чужемыслие, чужечувствие, чужезычие господствуют в словесности; что у нас мало своего, мало русского; что никто не старается дать поэзии нашей направление народное. Может быть, отчасти это и правда. Но, по справедливости, признаться должно, что и у нас встречаются яркие примеры такого литературного патриотизма, который даже и у немцев и англичан мог бы показаться баснословным» [Вяземский 1878–1896 I, 182; Шпет 2009, 545].

## Источники — Primary Sources in Russian

Архив князя Вяземского 1881 — Архив князя Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. СПб.: тип. Балашева, 1881 [*Prince Vyazemsky's Arhive. Prince Andrei Ivanovitch Vyazemsky* (In Russian)].

Боратынский 2002 — *Боратынский Е.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 2 т. Т. 2. Ч. 1. М.: Языки славянской культуры, 2002 [Boratynsky, Eugene A. (2002) *Complete Works and Letters* (In Russian)].

Вяземский 1878–1896 — Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. СПб.: тип. Стасюлевича, 1878–1896 [Vyazemsky, Peter (1878–1896) *Complete Works* (In Russian)].

Вяземский 1895 — Письмо князя П.А. Вяземского к Елизавете Михайловне Хитрово, 7 октября 1831 года // Русский архив. 1895. № 5. С. 110–113 [*Letter from prince P.A. Vyazemsky to Elizaveta Mikhailovna Khitrova* (In Russian)].

Вяземский 1935 — *Вяземский П.А.* Избранные стихотворения. М.; Л.: Academia, 1935 [Vyazemsky, Peter A. (1935) *Selected poems* (In Russian)].

Вяземский 1986 — *Вяземский П.А.* Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1986 [Vyazemsky Peter A. *Poems* (In Russian)].

Вяземский 2003 — *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. 1813–1877. М.: Захаров, 2003 [Vyazemsky, Peter A. (2003) *An Old notebook. 1813–1877* (In Russian)].

Гоголь 1984 — *Гоголь Н.В.* Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 7. М.: Правда, 1984 [Gogol, Nikolai V. (1984) *Selected passages from correspondence with friends* (In Russian)].

Жуковский 2000 — *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. Т. 2. М.: Языки славянской культуры, 2000 [Zhukovsky, Vasilii A. (2000) *Complete Works and Letters* (In Russian)].

*Игнатий (Брянчанинов) 1862 web* — *Игнатий (Брянчанинов). Слово о смерти. М., 1862* // [http://lib.pavmir.ru/library/readbook/209/Ignatius\\_\(Brianchaninov\)\\_1862](http://lib.pavmir.ru/library/readbook/209/Ignatius_(Brianchaninov)_1862) [*Ignatius (Brianchaninov) (1862) The Word of Death* (In Russian)].



Карамзин 2015 — *Карамзин Н.М.* История государства Российского. В 12 т. Т. 1. М.: АСТ, 2015 [Karamzin, Nikolay M. (2015) *History of Russian State* (In Russian)].

Касаткина (ред.) 1988 — «Литературная газета» А.С. Пушкина и А.А. Дельвига 1830 года (№ 1–13) / Под общ. ред. В.Н. Касаткиной. М.: Советская Россия, 1988 [Kasatkina, Vera N. (ed.) (1988) *«Literary newspaper» of A.S. Pushkin and A.A. Delvig, 1830 (№ 1–13)*, (In Russian)].

Назарьян, Фризман (ред.) 1991 — Декабристы: эстетика и критика / Сост. Р.Г. Назарьян, Л.Г. Фризман. М.: Искусство, 1991. [Nazar'an Ruben G., Frizman Leonid G. (1991) *The Decembrists: aesthetics and criticism* (In Russian)].

Пушкин 1977–1979 — *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 10 т. М.: Наука, 1977–1979. [Pushkin, Alexander S. (1977–1979). *Complete works* (In Russian)].

Остафьевский архив 1899–1913 — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб.: тип. Стасюлевича, 1899–1913 [*Princes' Vyazemsky Ostafievo Arhive* (In Russian)].

Сталь 1989 — *Сталь Ж. де.* О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями. М.: Искусство, 1989 [Staël, Germaine de (1959) *De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales* (Russian translation 1989)].

Шпет 2005 — *Шпет Г.Г.* Мысль и слово. Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т.Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2005 [Shpet, Gustav G. *Thought and word. Selected Works* (In Russian)].

Шпет 2008 — *Шпет Г.Г.* Очерк развития русской философии I / Под ред. Т.Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2008 [Shpet, Gustav G. *An Outline of the Development of Russian Philosophy I* (In Russian)].

Шпет 2009 — *Шпет Г.Г.* Очерк развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Т.Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2009 [Shpet, Gustav G. *An Outline of the Development of Russian Philosophy. II. Materials. Reconstructed by T.G. Shchedrina* (In Russian)].

### Ссылки — References in Russian

Бондаренко 2014 — *Бондаренко В.В.* Вяземский. М.: Молодая гвардия, 2014.

Букина 2011 — *Букина Г.Ю.* Онтологические мотивы в поздней лирике П.А. Вяземского // *Вестник МГОУ. Сер. Русская филология.* 2011. № 5. С. 123–126

Гиллельсон 1969 — *Гиллельсон М.И.* П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969.

Гинзбург 1986 — *Гинзбург Л.Я.* П.А. Вяземский // *Вяземский П.А. Стихотворения.* Л.: Советский писатель, 1986. С. 5–50.

Достоинство знания 2016 — *Пружинин Б.И., Автономова Н.С., Бажанов В.А., Грифцова И.Н., Касавин И.Т., Князев В.Н., Лекторский В.А., Махлин В.Л., Микешина Л.А., Ольхов П.А., Порус В.Н., Сорина Г.В., Филатов В.П., Щедрина Т.Г.* Достоинство знания как проблема современной эпистемологии. Материалы круглого стола // Вопросы философии. 2016. № 8. С. 20–56.

Кантор 2005 — *Кантор В.К.* Русская классика, или Бытие России. М.: РОССПЭН, 2005.

Кара-Мурза 1993 — *Кара-Мурза А.А.* Что такое российское западничество? // *Полис. Политические исследования.* 1993. № 2. С. 90–96.

Кара-Мурза (ред.) 2007 — Российский либерализм: идеи и люди / *Общ. ред. А.А. Кара-Мурзы.* М.: Новое издательство, 2007.

Кара-Мурза 2016<sup>а</sup> — *Кара-Мурза А.А.* Тяжба о Карамзине. Юбилейные заметки // *Вопросы философии.* 2016. № 12. С. 106–110.

Кара-Мурза 2016<sup>б</sup> — *Кара-Мурза А.А.* Философские дилеммы писем русского путешественника Н.М. Карамзина // *Философские науки.* 2016. № 11. С. 59–68.

Лотман 1960 — *Лотман Ю.М.* П.А. Вяземский и движение декабристов // *Ученые записки Тартуского университета.* 1960. Вып. 98. С. 24–142.

Митрофанова 2007 — *Митрофанова О.И.* Своеобразие идеологии П.А. Вяземского // *Вестник ВГУ. Сер. Филология, журналистика.* 2007. № 2. С. 75–82.

Моторин 2010 web — *Моторин А.В.* Художественное вероисповедание князя Петра Вяземского. 2010. Ч. 1–3. // <http://www.minilnx.com.pravoslavie.ru/38764.html>

Нечаева 1935 — *Нечаева В.С.* Вяземский — поэт // *Вяземский П.А. Избранные стихотворения.* М.: Academia, 1935. С. 7–60.

Пружинин, Щедрина (ред.) 2013 — Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX–XX веков: От личности к традиции / Под ред. Б.И. Пружинина, Т.Г. Щедриной. М.: РОССПЭН, 2013.

Пружинин, Щедрина 2015 — *Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г.* Русская философия как культурно-исторический феномен: проблема целостности // *Вестник Вятского государственного гуманитарного университета.* 2015. № 2. С. 17–24.

Шабанов 2014 web — *Шабанов А., прот.* «Два племени» князя Вяземского // <http://www.pravoslavie.ru/73483.html>

**Prince peter andreevich vyazemsky,  
and the historical fates of russia  
(to the 225th birth anniversary).  
The materials of the international conference**

**Alexei A. Kara-Murza, Irina E. Prokhorova, Boris I. Pruzhinin,  
Tatiana G. Shchedrina, Olga A. Zhukova**

1 and 3 June 2017 at the Institute of philosophy of Russian Academy of Sciences and the State Estate-Museum *Ostafyevo* – «a patrimonial nest» of the Vyazemskys princes – was held the international scientific conference dedicated to the 225th birth anniversary of the outstanding Russian writer, social and political thinker, statesman, prince Peter Andreevich Vyazemsky.

The A.A. Kara-Murza's article «*Russian Northernship*» of the *Princes Vyazemsky (to the Question of National Identity)* explores the little-studied question of the role of the princes Vyazemsky in the creation of the concept of «Russian Northernship» – a rich «identification matrix», which played a big role in the philosophical and ideological polemics of the 18th and the first third of 19th centuries and pushed back into the distance in the middle of the 19th century, with the beginning of the «classical» Russian dispute between «Westerners» and «Slavophiles». According to the author of the article, the main ideological inspirer of the *rukovoditel* Vyazemsky was N.M. Karamzin, who lived and worked in Vyazemsky's «family nests» in Moscow and Ostafievo, and whose «History Of the Russian State» is a classical text of the «Russian Northernship».

In the I.E. Prokhorova's article *Concepts «Death» and «Old Age» in the Lyrics of P.A. Vyazemsky* particular attention is paid to Vyazemsky's «poetry of old age» with its variety of ideas and experiences and accentuation of the concept of «death», skeptical mentality and motives of the spleen. The article shows Vyazemsky's deep study of the fundamental philosophical and psychological problems of «last age», adaptation to it and gerontophobia as well as problems of generations mental conflict and perspectives of their «common labor» and the conception of two variants of old age. The researcher also made an attempt to analyze completely and objectively Vyazemsky's ideas about life after death («the second volume of the book of life»), memory and posthumous fame.

The O.A. Zhukova's article *The Ideals of the Enlightenment and National Literature: The Aesthetic Program of P.A. Vyazemsky* presents the idea that Vyazemsky creates aesthetic canon of Russian classics, showing the process of universalization of aesthetic values in Russian culture. He consistently defended the thesis of the necessary of national literature in relationship with spiritual traditions and civil institutions of the people. The author reveals the aesthetic sense of the Vyazemsky's program, which structural elements are the language as a form of expression of thought, historicism in the formation of national literature and the ideas of the Enlightenment. Also are identified «culture heroes», who influenced the aesthetic program of Vyazemsky – creator of the Russian Empire Peter the Great, the great historian N.M. Karamzin and his friend, the first poet of Russia, Pushkin.

The article by T.G. Shchedrina and B.I. Pruzhinin *To the Origins of the «Positive Philosophy» in Russia: Peter Vyazemsky on the Self-Integrity of Intellectual Culture* analyses the intellectual legacy of the Russian thinker Peter Vyazemsky. The authors provide the idea that his ideas belong to the origins of the tradition of «positive philosophy» in Russia, which is characterized by historicism (which is also always applied to the author's own philosophical position) and sign-symbolic interpretation of knowledge as a cultural value. Vyazemsky's turn to «positive philosophy» especially clearly manifests itself through his thoughts about the Russian language, literature and nation, as well as through the cultural-historical evaluations of the first «Philosophical letter» by P. Ya. Chaadaev and A.S. Pushkin's «anti-Polish» (politically biased) poems. Vyazemsky's ideas about the necessity of creating «literary aristocracy» not only as a special non-politicised stratum of «creators of culture», but as a non-ideological environment for the formation of personality, appear to be very modern and, moreover, consonant to the fundamental cultural problems of our crisis era.

**KEY WORDS:** History of Russia, Russian intellectual culture, Enlightenment, «Russian Northernship», national identity, «positive philosophy», literary aristocracy, self-integrity, historicism, «death», «old age», posthumous fame.

KARA-MURZA Alexei A. – DSc in Philosophy, Professor, Senior Researcher, National Research University Higher School of Economics; Senior Researcher, Institute of Philosophy RAS, Russian Federation.

a-kara-murza@yandex.ru

PROKHOROVA Irina E. – CSc in Philology, Associate Professor at the Chair of History of Russian Journalism and Literature, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Moscow.

ieprokhorova@mail.ru

PRUZHININ Boris I. – DSc in Philosophy, Editor-in-chief of Journal «Voprosy Filosofii», Professor of the School of Philosophy of the National Research University – Higher School of Economics, Moscow.

prubor@mail.ru

SHCHEDRINA Tatiana G. – DSc in Philosophy, Professor at Department of Philosophy of Institute of Social Humanitarian Education at Moscow Pedagogical State University, Professor at Department of Philosophy of School of Humanities at Far Eastern Federal University (FESU), Vladivostok, Editor of Journal «Voprosy Filosofii», Moscow.

tannirra@yandex.ru

ZHUKOVA Olga A. – DSc in Philosophy, Professor of the Faculty of Humanities, School of Philosophy, National Research University Higher School of Economics, Moscow.

ozhukova@hse.ru

Received at July 15, 2017

Citation: Kara-Murza Alexei A. (2018) ‘Russian Northernship of the Princes Vyazemsky (to the Question of National Identity)’, *Voprosy Filosofii*, 2018. Vol. 3, pp. 5–13.

Prokhorova, Irina E. (2018) ‘Concepts Death and Old Age in the Lyrics of P.A. Vyazemsky’, *Voprosy Filosofii*, 2018. Vol. 3, pp. 14–19.

Zhukova, Olga A. (2018) ‘The Ideals of the Enlightenment and National Literature: The Aesthetic Program of P.A. Vyazemsky’, *Voprosy Filosofii*, Vol. 3 (2018). pp. 19–24.

Shchedrina, Tatiana G., Pruzhinin, Boris I. (2018) ‘To the Origins of the Positive Philosophy in Russia: Peter Vyazemsky on the Self-Integrity of Intellectual Culture’, *Voprosy Filosofii*, Vol. 3 (2018), pp. 25–27.

### *References*

- Bondarenko, Vyacheslav V. (2014) *Vyazemsky*, Molodaya Gvardiya, Moscow (In Russian).
- Bukina, Galina Yu. (2011) ‘Ontological motifs in the late lyrics of P.A. Vyazemsky’, *Bulletin of MSRU. Ser. Russian philology*, 5, pp. 123–126 (In Russian).
- Gillelson, Maxim I. (1969) *P.A. Vyazemsky. Life and art*, Nauka, Leningrad, 1969 (In Russian).
- Ginzburg, Lidiya Ya. (1986) ‘P.A. Vyazemsky’, *Vyazemsky P.A. Poems, Sovremenny pisatel*, Leningrad, pp. 5–50 (In Russian).
- Kantor, Vladimir K. (2005) *Russian classics, or the Being of Russia*, ROSSPEN, Moscow (In Russian).
- Kara-Murza, Alexey A. (1993) ‘What is Russian Westernism?’, *Polis. Political Studies*, 1993, 2, pp. 90–96 (In Russian).

- Kara-Murza, Alexey A. ed. (2007) *Russian Liberalism: Ideas & Persons*, ed. A.A. Kara-Murza, Novoe izdatel'stvo, Moscow (In Russian)
- Kara-Murza, Alexey A. (2016<sup>a</sup>) 'The Karamzin' Debate: Anniversary Notes', *Voprosy Filosofii*, Vol. 12 (2016), pp. 106–110 (In Russian).
- Kara-Murza, Alexey A. (2016) 'The Philosophical Dilemmas of *Letters of a Russian Traveler* of N.M. Karamzin', *Philosofskiy nauki*, 11, pp. 59–68 (In Russian).
- Lotman, Yuri M. (1960) 'P.A. Vyazemsky and the Decembrist movement', *Scientific notes of Tartu University*, 98, pp. 24–142. (In Russian).
- Mitrofanova, Olga I. (2007) 'The peculiarity of ideostyle of P.A. Vyazemsky', *Bulletin of VSU. Ser.: Philology, journalism*, 2, pp. 79–80 (In Russian).
- Motorin, Alexander V. (2010) 'Confession of Prince Peter Vyazemsky in poetic form', <http://www.minilinx.com.pravoslavie.ru/38764.html> (In Russian).
- Nechaeva, Vera S. (1935) 'Vyazemsky is a poet', *Vyazemsky, Peter A. Selected poems*, Academia, Moscow, Leningrad (In Russian).
- Pruzhinin Boris I, Avtonomova Natalia S., Bazhanov Valentin A., Filatov Vladimir P., Griftsova Irina N., Kazavin Ilya T., Knyazev Viktor N., Lectorsky Vladislav A., Makhlin Vitaliy L., Mikeshina Ludmila A., Olkhov Pavel A., Porus Vladimir N., Shchedrina Tatiana G., Sorina Galina V. (2016) 'The Self-Integrity of Knowledge as a Problem of Modern Epistemology. Materials of *Round Table*', *Voprosy Filosofii*, Vol 8 (2016), pp. 20–56 (In Russian).
- Pruzhinin Boris I., Shchedrina Tatiana G. (eds.) (2013) *Epistemological style of the Russian intellectual culture of the XIX–XX centuries: from personality to tradition*, ROSSPEN, Moscow (In Russian).
- Pruzhinin, Boris I., Shchedrina, Tatiana G. (2015) 'Russian Philosophy as a Culture-Historical Phenomenon: the Problem of Integrity', *The Herald of Vyatka State University for the Humanities*, 2, pp. 17–24 (In Russian).
- Shabanov, Alexander (2014 web) *Prince Vyazemskys' «Two Tribes»* // <http://www.pravoslavie.ru/73483.html> (In Russian).